



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

891.78

T940

568i

1894a

A

871,286

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*

1817



ANTE SCIENTIAM VERITAS



**THIS "O-P BOOK" IS AN AUTHORIZED REPRINT OF THE
ORIGINAL EDITION, PRODUCED BY MICROFILM-XEROX BY
UNIVERSITY MICROFILMS, INC., ANN ARBOR, MICHIGAN, 1962**

23-
ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БЮГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

И. С. ТУРГЕНЕВЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

ОР. 18/19 W.C. 776

47
БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Евгенія Соловьева

съ портретомъ Тургенева, гравированнымъ въ Петербургѣ К. Адтомъ

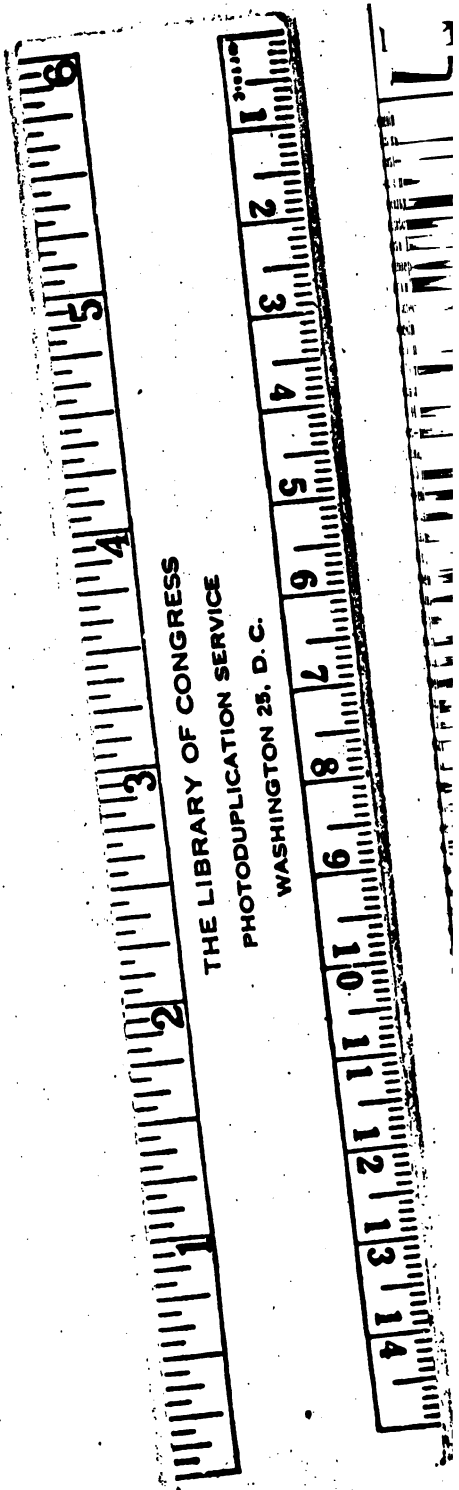
.....
ЦѢНА 25 КОП.
.....

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

КА ПЕЧАТАНА ВЪ ТИПОГ. ВЫСОТ. УТВЕРЖД. ТОВАРИЩ. «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»,
Вол. Подъячская, 38.

1894.

61-301326



THE LIBRARY OF CONGRESS
PHOTODUPLICATION SERVICE
WASHINGTON 25, D. C.

13

ИЗДАНИЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Литература, исторія, публицистика и законовѣдніе.

извѣнія Чарльза Диккенса. Полное собраніе. Для каждого тома (равнаго 75 журна. листамъ)—1 р. 60 к.—До 1 апрѣля 1894 г. вышли первые семь томовъ: 1) Давидъ Коппельфельдъ, 1) Домби и сынъ, 3) Холодный домъ. Повѣсть о двухъ городахъ, 4) Крошкѣ Дорритъ и Большія надежды, 5) Нашъ общій другъ Оливеръ Твистъ, 6) Записки Пиквикскаго клуба и Тяжелыя времена, 7) Николай Николы Рождественскіе рассказы. Томъ 8 печатается извѣнія Пушкина. Съ портретами, біографіей 500 писемъ. Полное собраніе въ 1-мъ и въ 10 томахъ. Цѣна 1-томнаго и 10-томнаго изданія одна и та же: безъ картъ —1 р. 60 к. и 44 картинъ.—2 р. 60 к. На лучшей бумагѣ.—на 60 к. дорожкѣ. За переплетъ: для 1-го том. изд.—40 к. и 1 р. Для 10-томнаго въ 5 пер.) 1 р. и 2 р.

извѣнія Лермонтова (въ одномъ томѣ), Полное собраніе. Съ портретами, біографіей и 115 рисунками, Ц. 1 р. Въ простомъ перепл.—1 р. 0 к., въ коленкоровомъ съ золотомъ—2 р.

извѣнія Лермонтова (въ четырехъ томахъ), Полное собраніе. Съ портретами, біографіей и 15 рисунками. Цѣна за всѣ 4 тома 1 р., въ простомъ переплетѣ—1 р. 60 к., въ роскошнѣхъ 2 р.

извѣнія Н. В. Шелгунова. Въ двухъ томахъ. Съ портретами автора и вступительной статьей А. Михайловскаго. Ц. 3 р., въ перепл.—4 р.

рѣши и рассказы И. Потапенко. 8 томовъ, для каждого—1 р. Перепл. для 2-го тома по 75 к., извѣнія Глѣба Успенскаго. 3 изд., въ 2 том. Съ портретами автора и статьей Н. К. Михайловскаго. Ц. за два тома—3 р. Перепл. въ 60 к. и въ 1 р.

извѣнія Гл. Успенскаго. Томъ 3-й. Ц. 1 р. 60 к.

извѣнія В. М. Рѣшеникова. Въ двухъ томахъ, съ портр. автора и статьей М. Протопопова. Ц. за все собраніе—2 р. 60 к. Перепл. въ 60 к. и 1 р.

извѣнія А. М. Скабичевскаго. Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литерат. характеристики. Съ портретами автора. Цѣна за все собраніе въ двухъ больш. томахъ (до 1700 стр.) 3 р. Перепл.—въ 60 к. и по 1 р.

Вѣнскій альбомъ въ „Сочиненіяхъ Пушкина“. 44 иллюстраціи съ подписями, портретами и стихами съ почерка. Цѣна въ папки 1 р. 60 к. Вѣнскій альбомъ въ „Сочиненіяхъ Пушкина“. Тѣ же иллюстраціи, но меньшаго формата. Ц. въ коленкоровомъ перепл.—1 р. 25 к.

20 рисунковъ къ Лермонтову. Художественный альбомъ М. Е. Малышева. Цѣна въ папки 50 к.

Антанская дочка. А. Пушкина. Съ 188 рисун. Ц. 60 к., въ пап. 75 к., въ пер. 1 р.

Врожденіе. Психопатическія извѣнія въ области современной литературы и искусства. Максимъ Нордъ. Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей и съ предисловіемъ Р. Сементковскаго. Большой томъ, 585 столб. Ц. 1 р. 60 к.

Исторія французской революціи. Ж. Карно. Переводъ съ франц. Около 400 стр. Ц. 1 р.

Герои и героическое въ исторіи. Томъ Келлей. Перев. В. Яковенко. Ц. 1 р. 60 к.

Матери великихъ людей. Блока. Переводъ З. Горской. Со многими рисунками. Ц. 60 к.

Европейскіе монархи и ихъ дворы. Politicus. Переводъ В. Раткова. Съ 16 портрет. Ц. 1 р.

Исторія новѣйшей русск. литературы (1848—1892 гг.) А. Скабичевскаго. 2-е изд. Ц. 2 р.

Исторія рус. цензуры. А. Скабичевскаго. Ц. 2 р.

Исторія книги на Руси. А. Вагшировича. Съ многими рисунками въ текстѣ. Ц. 1 р. 60 к.

Исторія культуры. Литература. Перев. съ нѣм. М. К. М. Ц. 1 р. 60 к.

Литература и жизнь. Письма о разныхъ разпостяхъ. Н. К. Михайловскаго. Ц. 1 р.

Новѣйшіе русскіе писатели. А. Цыткова. Съ 72 портр. Ц. 3 р.

Грядущая раса. Фантастическій романъ. Эд. Бульверъ. Перев. съ англ. Каленскаго. Ц. 50 к.

Черезъ сто лѣтъ. Соц. романъ В. Веллами. 3-е изд., дополненное научно-предсказательнымъ очеркомъ Рише: „Куда мы идемъ?“. Ц. 1 р.

Голодь. Ром. К. Гамсуна. Съ портретами. Ц. 60 к.

Въ трущобахъ Англіи. Соціал. борьба съ экономич. извѣнiami соврем. общества. Вунса. Ц. 1 р.

Забора. Ром. Эдгера. Съ 14 ил. изд. Ц. 60 к.

До потопу. Романъ изъ жизни первобытныхъ людей. Рони. Ц. 16 рс. Ц. 60 к.

Въ небесахъ (Uranie). Астрономическій романъ К. Фламмаріона. Съ 89 рис. 2-е изд. Ц. 75 к.

По волнамъ безконечности. Астрономическая фантазія К. Фламмаріона. 2 изд. Ц. 80 к.

Долой оружіе! Анти-военный романъ Б. Зунднера. Компактное изданіе. Цѣна 80 к.

Подъ маской благочестія. (Преступленія и оргія папъ.) Романъ Э. Постери. Ц. 1 р.

Больная любовь. Гигиеническ. романъ Мантегаци. Ц. 60 к.

Въ раздумьи. Очерки изъ жизни русской интеллигенціи. Е. А. Соловьева. Ц. 75 к.

Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ портрет. И. С. Тургенева. Ц. 15 к.

Въ поискахъ заистиной. Максимъ Нордъ. Перев. съ 4-го нѣм. изд. Э. Зунднера. 3-е изд. Ц. 1 р.

Счастье и трудъ. М. Мантегаци. 2-е изд. Ц. 75 к.

Бесѣды о законахъ и порядкахъ. С. Горьскаго. Подъ ред. Л. Абрамова. 2-е изд. Цѣна 15 к.

Законы о гражданскихъ договорахъ. Общественно изложеніе и объясненіе составилъ В. Фурмановскій. Изд. 4-е. Ц. 1 р. 25 к.

Роль общественнаго мнѣнія въ государственной жизни. Протек. Гальценбургъ. Ц. 75 к.

Очерки самоуправленія (земскаго, городского и сельскаго). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.

Борьба съ земельнымъ хищничествомъ. Бытовые очерки И. Тимошенкова. Ц. 1 р.

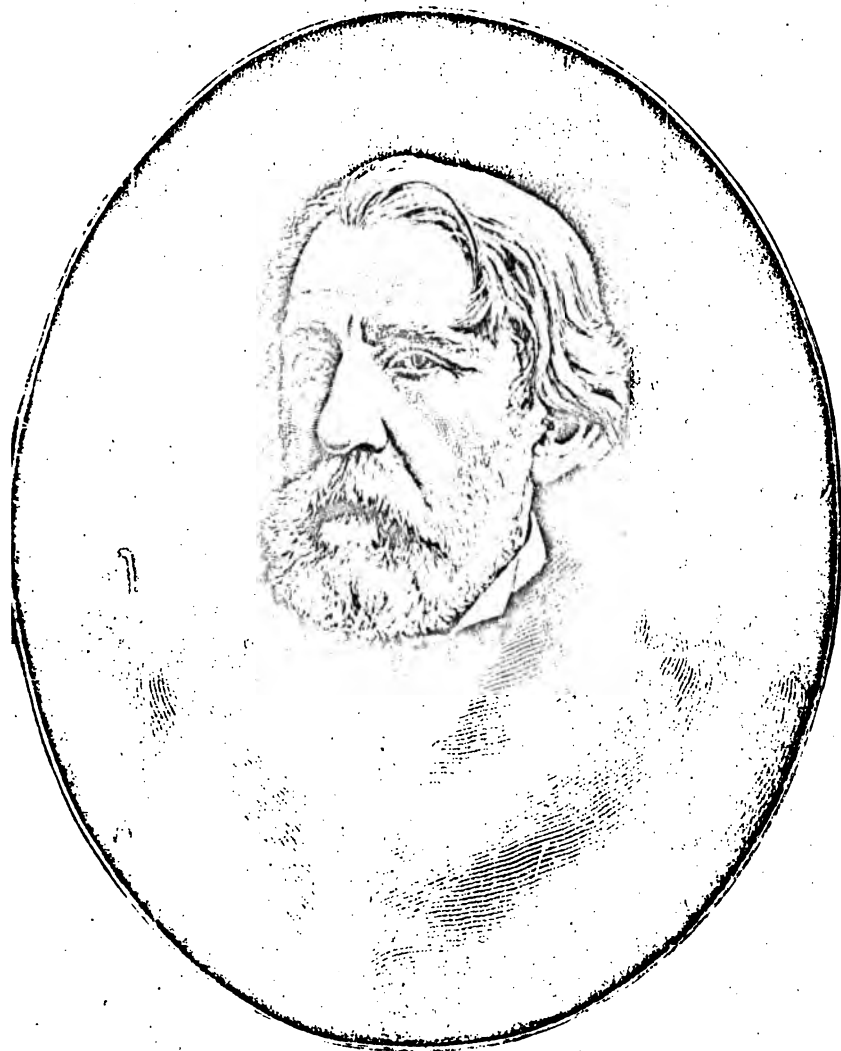
Брюхо Петербурга. Общественно-физиологическіе очерки А. Вагшировича. Ц. 1 р. 60 к.

Русскіе фланеры въ Парижѣ. Попова. Ц. 1 р.

По градамъ и веснямъ. Ром. Володина (П. Засодимскаго). Ц. 1 р. 60 к.

Обломки разбитаго корабля. Сцены у мировыхъ судей. Составилъ В. Никитина. Ц. 1 р.

Сочиненія Д. И. ПИСАРЕВА. Полное собраніе въ 6 томахъ. Спб. 1894 г. Цѣна каждого тома 1 р.



И. С. Тургеневъ.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

Solov'ev, Evgenii Andreevich

И. С. ТУРГЕНЕВЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Евгенія Соловьева.

Съ портретомъ Тургенева, гравированнымъ въ Петербургѣ К. Адтомъ.

.....
ЦѢНА 25 КОП.
.....

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Контрагентства жел. дорогъ, Литовская ул., 89, уг. Съѣчнаго пер
1894.

~~РГР 24.98~~
~~56~~

891.78

T940

S68i

1894a

Дозволено цензурою. Сиб. 3 Июля 1894 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЕІ

Предисловіе	
I. Дѣтство, отрочество и юность	
II. Заграницей.—Сороковые годы.—Тургеневъ и Бѣлинскій	
III. Пятидесятые годы.—Кружокъ энциклопедистовъ	
IV. Шестидесятые годы.—«Отцы и Дѣти»	
V. Последніе годы.—Міровая слава	
VI. Тургеневъ—какъ человекъ и художникъ	

С

Источники и пособия.

1. *И. С. Тургеневъ*. Полное собраніе сочиненій.
2. *С. Венеровъ*. Критическіе этюды.
3. *Письма И. С. Тургенева*. Изд. литературнаго фонда.
4. *Иностранная критика о Тургеневѣ*.
5. Статьи: 1) Бѣлинскаго.
2) Добролюбова.
3) Антоновича.
4) Чернышевскаго.
5) Писарева.
6) Н. К. Михайловскаго.
7) Анненкова.
6. *Воспомянія Панаева и Панаевой-Головачевой*.

Предисловіе.

Все въ мірѣ періодично или ритмично, какъ принято выражаться теперь: самое солнце грѣетъ не одинаково и ему поровну бываетъ надо отдохнуть, успокоиться, и оно отдыхаетъ, покоится 10—12 лѣтъ, чтобы потомъ засверкать съ необычною силой. Въ жизни каждаго народа бываютъ эпохи напряженія силъ и ихъ упадка, эпохи равнодушія и ненависти, стремленія къ матеріальному благосостоянію и къ громкимъ, смѣлымъ дѣламъ. Законы этого ритма, этой періодичности таинственны и пока совершенно неизвѣстны наукѣ, которая лишь присматривается къ факту, не имѣя силы объяснить его. Но самое явленіе періодичности, ритма—несомнѣнно въ жизни солнца или жизни искусства.

Есть эпохи «возрожденія», «упадка» и самыя грустныя—переходныя, когда галанты не даютъ ничего положительнаго, цѣльнаго, а лишь обѣщаютъ дать что-то, повидному важное, новое, хотя и неизвѣстно что. Такую эпоху переживаемъ мы теперь. Въ другое время даже слабая сравнительно сила распускается полностью, поражаетъ яркостью своихъ красокъ. Иногда все живетъ точно окутанное осеннимъ туманомъ, иногда—при полномъ солнечномъ блескѣ...

Въ жизни искусства есть своя таинственная періодичность. Многіе, начиная съ Аристотеля, пытались пояснить ея законы понятными для насъ причинами. Аристотель говорилъ: «искусство достигаетъ *наивысшаго* блеска, когда человекъ *наиболѣе* хочетъ жить...» Но мы не можемъ принять этого объясненія: факты противорѣчатъ ему. Бокль утверждалъ, что расцвѣтъ искусства совпадаетъ съ расцвѣтомъ *любопытности* вообще, т. е. науки. Исторія несогласна и съ нимъ. Спенсеръ предложилъ формулу, которая представляется наиболѣе вѣроятной. Онъ говоритъ, что область искусства—прошлое, воспоминаніе, что высочайшіе образцы художественнаго творчества появляются лишь тогда, когда кака-нибудь историческая эпоха пережила себя и исчезаетъ въ вѣчность. Такъ было въ Греціи, Римѣ, Англіи. Софокль, Филіппъ, Эврипидъ, Аристофанъ явились въ концѣ доблестной эпохи

эллинской жизни; въ ихъ время уже начался упадокъ нравовъ и даже полное ихъ крушеніе. Римское искусство, кромѣ краснорѣчія, все цѣлкомъ принадлежитъ періоду имперіи и упраздненной республики. Шекспиръ, жившій въ XVII-омъ вѣкѣ, вдохновлялся средневѣковыми феодальными нравами, Мильтонъ былъ послѣдній изъ пуританъ, итальянецъ Данте похоронилъ католицизмъ, Сервантесъ—рыцарство, Рабле—средневѣковые нравы и воспитаніе...

Не то же ли самое было и у насъ? Крѣпостная, дореформенная Русь въ годы своей агоніи выдвинула цѣлую плеяду первоклассныхъ талантовъ. Корни творческаго вдохновенія Гоголя, Тургенева, Гончарова, Толстого, Островскаго, Достоевскаго въ той эпохѣ, когда «крѣпостное право стояло, какъ скала». Крѣпостному праву можно было воспѣвать панегирики, воплотивъ его сущность въ мистическія и привлекательныя формы кротости, смиренія, всепрощенія,—какъ то дѣлалъ Гоголь въ «Перепискѣ»,—можно было безстрастно анализировать его, какъ Гончаровъ, относиться къ нему съ горячей ненавистью, какъ Тургеневъ,—это безразлично: образы великихъ художниковъ выросли на почвѣ, уже выслушавшей свой смертный приговоръ отъ исторіи,—на почвѣ, уходившей изъ подъ ногъ.

Истинно художественный образъ—цѣльный образъ, какъ Ричардъ III, Фальстафъ, Король Лиръ, Донъ-Кихотъ, или наши—Маниловы, Собакевичи, Коробочки. Но, чтобы изобразить цѣльный образъ, художникъ долженъ имѣть его передъ глазами. Это возможно лишь въ эпоху, когда общественныя отношенія сложились въ опредѣленную форму и какъ бы застыли въ ней, т. е.—въ эпоху умирающую. Такова мысль Спенсера. Слейте ее съ мыслью Аристотеля и вы получите простую формулу, а именно: «расцвѣтъ искусства совпадаетъ съ періодомъ, когда извѣстная, опредѣленно и рѣзко сложившаяся историческая эпоха умираетъ, но уже занята заря новой жизни, и человѣкъ особенно страстно и нетерпѣливо хочетъ жить и безпокойно мечется, выискивая того неяснаго, таинственнаго новаго, что сулитъ ему счастье»...

Такимъ періодомъ были 40-ые годы.

«Крѣпостное право стояло, какъ скала» — на бумагѣ и въ офиціальномъ смыслѣ слова; крѣпостныя отношенія трещали по всѣмъ швамъ—въ дѣйствительности. На нихъ нападали со всѣхъ сторонъ, ихъ таранили, какъ осажденную, готовую сдаться, но внушительную своими могучими, покрытыми сѣрымъ мхомъ стѣнами — крѣпость. *Наверху* проходили постоянныя тайныя за-

сѣданія комитетовъ «по крестьянскимъ дѣламъ», и дѣло освобожденія Николай I-й сознательно завѣщалъ своему преемнику. *Внизу* крѣпостные волновались и буянили безпрестанно: ихъ то и дѣло приходилось укрощать штыками и пушками. *Въ срединѣ* происходило что-то особенно странное и интересное. Тамъ были помѣщики, стыдившіеся своихъ правъ и доходовъ, были дворяне-интеллигенты, жившіе на счетъ крестьянъ и дававшіе себѣ клятву бороться противъ крѣпостничества, — были люди, проникнутые идеями Леру, Жоржъ Занда, были и собиравшіе оброкъ. По всякому осмысленному человѣку было не ловко, стыдно, не по себѣ. По своей слабости онъ жилъ, какъ всѣ, заключалъ договоры, прикупалъ и продавалъ деревни, т. е. въ сущности бабъ и мужиковъ, а между тѣмъ какой-то червь безпрестанно глодалъ его сердце, не давалъ ему покоя и возможности полностью насладиться жизнью. Этотъ червь было сознаніе своей неправоты, укоръ совѣсти за рабство... «Хлѣбъ, воздѣланный рабами, не шель имъ вырокъ» — сказалъ про такихъ Некрасовъ.

Объясняя въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ причины, почему его тянуло за границу даже въ годы юности, Тургеневъ говоритъ между прочимъ: «Могу сказать о себѣ, что лично я вполне ясно сознавалъ всѣ невыгоды подобнаго отторженія отъ родной почвы, подобнаго насильственного перерыва всѣхъ связей и нитей, прикрѣпившихъ меня къ тому быту, среди котораго я выросъ... но дѣлать было нечего... Тотъ бытъ, та среда и, особенно та полоса ея, къ которой, если можно такъ выразиться, я принадлежалъ, полоса помѣщичья, крѣпостная — не представляла ничего такого, что могло бы удержать меня... Напротивъ, почти все, что я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувство смущенія, негодованія — отвращенія наконецъ... Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня не доставало вѣроятно надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удадиться отъ моего врага за тѣмъ, чтобы пзъ самой моею далъ сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя — врагъ этотъ былъ крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, — съ чѣмъ я поклялся никогда не примириться. Это была моя аннибаловская клятва, и ни я одинъ далъ ее себѣ тогда. Я и на Западъ ушелъ, чтобы лучше ее исполнить»...

Тургеневу было около 20-ти лѣтъ, когда имъ овладѣло изображенное въ предыдущихъ строкахъ настроеніе и когда онъ далъ свою аннибаловскую клятву. Онъ остался ей вѣренъ до конца, и пзмѣна ей означала бы не только пзмѣну теоретическимъ убѣжденіямъ, но чему-то гораздо большому и могущественному—своему сердцу, которое научилось любить и ненавидѣть среди невыразимыхъ ужасовъ разнузданнаго крѣпостничества. Дѣтство, отрочество и юность Тургенева прошли въ обстановкѣ, читая описаніе которой, нельзя не почувствовать обиды, горечи негодованія. Рабство, лицемерно прикрывавшееся названіемъ крѣпостной зависимости, хладнокровное мучительство и лживое пзвѣдательство надъ народомъ—вотъ что прежде всего видѣлъ Тургеневъ первые 20 лѣтъ своей жизни и что создало «Записки Охотника», самое любимое и выѣстъ съ тѣмъ самое человѣчное произведеніе великаго русскаго писателя.

Но то же самое, что и Тургеневъ, вынесли и выстрадали почти всѣ его современники. Громадная историческая эпоха претерпѣвала предсмертную агонію. Новая неслая жизнь мерещилась всѣмъ и каждому. Напрасно цензура вытравляла «вольный духъ» изъ новаренной книги; напрасно возводилось въ уголовное преступленіе разсказъ о будочникѣ, ограбившемъ прохожаго, что случилось съ Герценомъ,—вольный духъ парилъ въ атмосферѣ, чую занимавшую зарю новой жизни.

Люди сороковыхъ годовъ выросли подъ вліяніемъ мечтателя Шеллинга, великаго по уму Гюгея, французскихъ и нѣмецкихъ романтиковъ, народолюбивой Жоржъ Зандъ, идеалиста Леру, и эти же люди были впоены и вскормлены крѣпостнымъ трудомъ, ихъ дѣтство прошло среди сценъ, жестокихъ и страшныхъ, ихъ молодыя сердца ежеминутно получали какъ бы обжогъ раскаленнымъ желѣзомъ отъ того, что окружало ихъ. Они рвались впередъ. Умиравшее, судорожно корчившееся у ихъ ногъ, искусственно поддерживаемое крѣпостное право возбуждало ихъ ненависть и отвращеніе. Выѣстъ съ тѣмъ эта умиравшая жизнь, какъ задыхающій звѣрь, являлась передъ ними во всей опредѣленности и вѣками выработанной полнотѣ. Ничего неяснаго, — никакихъ штриховъ, повсюду черты, глубоко проведенныя въ кампѣ. Это не была эпоха, про какую можно сказать: ни то, ни се, ни черво, ни бѣло: между добромъ и зломъ лежала цѣлая пропасть, высокое и низкое ни ходили подъ руку. Мены были источники счастья, мены источники страданія. Цѣльные характеры, цѣльные взгляды

попадались на каждомъ шагѣ. Художественныя натуры, кромѣ матеріала, бывшаго у нихъ подъ глазами, имѣли въ запасѣ преданія многихъ поколѣній,—преданія такія же ясныя, какъ смутныя преданія разночинца.

Этимъ и страстнымъ порывомъ къ новой, лучшей жизни объясняется быть можетъ появленіе такой плеяды талантовъ, которую мы видимъ на сценѣ въ 40-ые годы. Гоголь, Гончаровъ, Тургеневъ, Толстой, Достоевскій, Островскій—развѣ это не самыя дорогія имена русской литературы?

Одному изъ нихъ—Тургеневу и посвящена наша біографія.

I.

Дѣтство, отрочество и юность.

Родъ Тургеневыхъ, хотя и не титулованный, принадлежитъ однако къ стариннѣйшимъ и знатнѣйшимъ дворянскимъ родамъ Россіи. Онъ ведетъ свое происхожденіе еще изъ Золотой Орды, отъ какого-то Мирзы, поступившаго на службу къ московскимъ князьямъ. Въ XVII-мъ вѣкѣ и раньше предки Тургенева постоянно занимали отвѣтственныя и видныя мѣста воеводъ въ различныхъ городахъ, въ XVIII-омъ служили въ коллегіяхъ и арміи или жили мирными помѣщиками въ своихъ имѣніяхъ средней полосы Россіи. Самъ Тургеневъ родился 28-го октября 1812 года въ дѣдовскомъ домѣ, въ Орлѣ, гдѣ жили его отецъ, полковникъ гвардіи Сергѣй Николаевичъ, и мать, Варвара Петровна, урожденная Лутовинова.

Отецъ Тургенева, кавалерійскій офицеръ, къ 40-а годамъ жизни увидѣлъ себя въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Карты, цыганки и шампанское истощили всѣ его средства, и, по обычаю стараго русскаго барства, онъ рѣшился поправить свои дѣла выгоднымъ бракомъ. Это ему удалось при слѣдующихъ, довольно романтическихъ обстоятельствахъ. Какъ ремонтеръ гусарскаго полка, онъ пріѣхалъ однажды въ имѣніе будущей жены своей, Варвары Петровны Лутовиновой, для покупки лошадей на ея конскомъ заводѣ. Молодая помѣщица приняла красиваго офицера довольно любезно, причѣмъ предложила ему сыграть въ карты, но съ условіемъ, чтобы тотъ, кто выиграетъ, самъ, по своему желанію, назначилъ себѣ выигрышъ. Выигралъ Сергѣй

Иколаевичъ и, воспользовавшись случаемъ, тутъ же, по гусарски, съ дальнихъ околичностей просилъ руки своей партнерши. Та согласилась, и свадьба состоялась. Отецъ Тургенева вскорѣ вышелъ въ отставку и вмѣстѣ съ женою поселился въ ея громадномъ имѣніи Спасскомъ, гдѣ и зажилъ съ причудливой, иногда безумной роскошью. Прибавивъ къ этому, что Тургеневъ-отецъ былъ красивый и видный мужчина громаднаго роста, характера легкаго и переплываго, хлѣбосоль и страстный охотникъ, мужъ, хотя и не очень влюбленный въ свою жену, но уважавшій и даже побаивавшійся ея,—мы узнаемъ о немъ все, что намъ нужно.

Неизмѣримо типичнѣе и интереснѣе мать Тургенева, Варвара Петровна, эта жестокая, властная женщина, многими чертами своего характера напоминающая знаменитую Салтыкову. Вотъ ея наружность: «Некрасивая собою, небольшого роста, немного сутуловатая, она имѣла длинный и вмѣстѣ съ тѣмъ широкій носъ, съ глубокими порами въ кожѣ, отчего онъ казался какъ бы изрытымъ осой. Глаза у ней были черные, злые, непріятные, лицо смуглое, волосы черные, какъ смоль; осанку она имѣла гордую, задменную величавую, тяжелую; характеръ мстительный, властный, жестокий». Разумѣется, все въ домѣ заправляла она, а не мужъ, все трепетало отъ ея взгляда, все преклонялось передъ ея упрямой, непреклонной волей. Сколько людей подвергла она истязаніямъ, сколько сослала въ Сибирь, отдала въ солдаты—сочитать это трудно, по сцене разнузданнаго барскаго произвола разыгрывались въ Спасскомъ ежедневно. Любонятеи обиходъ, который мать Тургенева завела у себя въ имѣніи. Многочисленную дворовую челядь она распредѣлила на классы и чины, какъ при дворѣ; дворецкій назывался министромъ двора и фамилію ему придали такую, какую носилъ тогдашній шефъ жандармовъ—Бенкендорфъ; мальчикъ, заведывавшій полученіемъ и отправкой писемъ, именовался «министромъ почты». Этикетъ соблюдался строгій. Сама гордая владѣтельница помѣщица рѣдко показывалась на глаза; безъ ея разрѣшенія никто не смѣлъ съ нею заговорить—иначе виновному грозило жестокое наказаніе.

«Является напримѣръ кто нибудь изъ ея «министровъ» съ докладомъ, останавливается подобострастно у дверей и терпѣливо ждетъ разрѣшительнаго жеста повелительницы говорить; если Варвара Петровна минуты съ двѣ знака не подавала, значило, что докладъ она выслушивать теперь не можетъ,—и «министръ» робко удалялся прочь. Приходъ почты возвѣщался обыкновенно большимъ колоколомъ, затѣмъ почтальоны съ колокольчиками бѣжали по кор-

ридорахъ обширнаго дома, а «министръ почтъ», одѣтый по формѣ преподноситъ на серебряномъ подносѣ газеты и письма, адресованныя на имя госпожи.»

«Она даже велѣла сдѣлать себѣ особенныя носилки съ стекляннымъ колпакомъ въ видѣ не то кареты, не то кіоты, такъ какъ ходить на открытомъ воздухѣ она не рѣшалась, боясь свирѣпѣвшей въ то время холерной заразы. Подъ этимъ колпакомъ она сидѣла въ мягкое кресло, и ее носили по улицамъ особенно при ставленные къ этому крѣпостные люди.»

Нѣсколько фактовъ прекрасно охарактеризуютъ намъ жестокость матери Тургенева. Полагаю, всякій помнитъ прекрасный разсказъ изъ «Записокъ Охотника», озаглавленный «Муму». В этомъ разсказѣ передано истинное происшествіе и фигурирующая въ немъ помѣщица—сама Варвара Петровна. Сущность «Муму» сводится къ слѣдующему: нѣмой мужикъ Герасимъ оторванъ, и прихотн барыни, отъ земли, которую онъ страстно любитъ, переведенъ въ городъ и сдѣланъ дворникомъ. Свыкшись съ новымъ дѣломъ и примирившись съ судьбою, Герасимъ на бѣду влюбляется въ кроткую и безотвѣтную дворовую дѣвушку Таню. Но барыня не дастъ своего согласія на бракъ и женить на Танѣ пьяницу саножника Калитона, чтобы тотъ протрезвѣлъ. Герасимъ покоряется и здѣсь, но его доброе сердце ищетъ привязанности, и маленькая собаченка Муму становится лучшимъ и единственнымъ его другомъ. Увы однако!—Муму не ладитъ съ барыней, огрызается на ея ласки, раздражаетъ ее своимъ лаемъ. Выходитъ приказъ удалить Муму со двора. Въ отчаяніи Герасимъ рѣшается самъ утопить свою любимицу и со слезами на глазахъ привязываетъ ей камень на шею и бросаетъ въ воду.

Карлейль называлъ этотъ разсказъ самымъ трогательнымъ изъ всѣхъ, которые ему приходилось читать. Онъ правъ, пожалуй: благодаря чудному таланту Тургенева, вы видите, какъ въ стѣ съ преданной собаченкой тонетъ въ водѣ живое человѣческое сердце, оскорбленное, униженное, измѣное дикимъ произволомъ.

Былъ у В. И. крѣпостной мальчикъ Порфирій Кудряшовъ котораго она отравила вмѣстѣ съ сыномъ за границу въ качествѣ «казачка». Замѣтивъ рѣдкія способности послѣдняго, Тургеневъ много работалъ надъ его развитіемъ. Овладевъ нѣмецкимъ языкомъ и подготовившись къ экзамену, Кудряшовъ поступилъ студентомъ медицинскаго факультета въ одинъ изъ германскихъ университетовъ. Тургеневъ, зная властолюбіе своей матери, у которо ояъ напрасно и долго просилъ для Кудряшова вольную, убѣж

Чаль его не возвращаться въ Россію. Кудряшовъ повидимому подался совѣтамъ своего молодого друга и далъ слово остаться «у нѣмцевъ». Но каково же было удивленіе Тургенева, когда, простившись съ Кудряшовымъ, онъ увидѣлъ его въ конторѣ дилижансовъ съ узелкомъ в походной сумкой черезъ плечо. «Ты что куда, Порфирій?» «Въ Россію ѣду». «Какъ! Да вѣдь у тебя чутъ невѣста!» — «Христось съ нею, съ невѣстой!.. Родина милѣе».

Кудряшовъ вернулся въ Спасское, гдѣ барыни немедленно обратила его въ безотлучнаго домашняго врача при своей особѣ. Не выйдя на положеніе двороваго, Кудряшовъ запилъ горькую...

Какъ-же поступила В. Н. съ другимъ талантливымъ крѣпостнымъ. Она научила его живописи и затѣмъ заставила съ утра до вечера рисовать для себя все тѣ-же и тѣ-же цвѣты. Вѣднѣга спился. Вотъ что ежедневно и ежеминутно видѣлъ около себя Тургеневъ съ годы дѣтства и юности. Обстановка была не такова, чтобы въ ней могла развиться сила характера, тѣмъ болѣе, что Тургеневъ получилъ повидимому отъ отца свою мягкую и доброжелательную, лишенную энергіи натуру; но видѣннаго и слышаннаго въ Спасскомъ было вполне достаточно для воспитанія въ порядкѣ ненависти и отвращенія къ крѣпостничеству.

Въ такомъ же почти отдаленіи отъ своей особы, какъ и дворню, въ такой же строгой дисциплинѣ держала В. Н. и трехъ своихъ сыновей: Николая, Ивана и Сергѣя. И для нихъ она была прежде всего грознымъ судіей, безжалостно наказывая за всякую провинность. Тургеневъ впослѣдствіи самъ воспоминалъ, что драли его жестоко за всякіе пустяки и чуть не каждый день.

— Да, въ ежовыхъ рукавицахъ держали меня въ дѣтствѣ — доваривать онъ часто, — и матери моей я боялся, какъ огня. Взыскивали съ меня за все, точно съ рекрута николаевской эпохи, и только разъ, помню, одна моя выходка совершенно непостижимымъ образомъ прошла для меня безнаказанно. Сидѣло за столомъ большое общество и зашелъ разговоръ, какъ зовутъ чорта — вельзенуломъ ли, сатаной ли, или какъ нибудь иначе. Всѣ недоумѣвали. «А я знаю!» — вырвалось у меня. «Ты?», — строго посмотрѣвъ на меня, спросила мать. — «Я.» «Какъ же? Говори!» — «Мемъ.» «Мемъ? Почему же?» — «А когда въ церкви изгоняютъ чорта, всегда говорятъ: «вопъ — Мемъ» («вонлемъ»). Всѣ разсмѣялись, и я несчастливо выбрался изъ бѣды».

Воспитаніе дѣтей лежало главнымъ образомъ на гувернерахъ, французахъ и нѣмцахъ, которые выписывались прямо изъ за-

границы въ Спасское. Мало образованные, забитые, жалкіе, сразу по прїѣздѣ поступавшіе въ разрядъ дворянъ, — они, разумѣется, не могли оказывать особеннаго вліянія на дѣтей и плюсъ ихъ дѣятельности сводится лишь къ обученію иностраннымъ языкамъ. Тургеневъ любилъ вспоминать своихъ гувернеровъ и рассказывалъ про нихъ не мало анекдотовъ.

«Живо помню, — говорилъ онъ напр., — какъ одинъ чудакъ-нѣмецъ прїѣхалъ къ намъ съ клѣткою, въ которой сидѣла самая простая, обыкновенная, даже неученая ворона. Вся многочисленная дворянская семья сбѣжалась посмотреть на диковиннаго пѣмца, который возился надъ своей вороной; дворянство недоумѣвало, для чего ее нѣмецъ притащилъ, когда этого добра было не занимать-стать у насъ на дворѣ.

«Старикъ-дворянинъ, глядя на его суетню, флегматично замѣтилъ: «ахъ ты, фуфлыга», обращаясь конечно къ пѣмцу. Пѣмецъ обидѣлся, задумался и на другой день за завтракомъ или обѣдомъ неожиданно обратился къ отцу и, весьма плохо объясняясь по-русски, заявилъ ему, что онъ имѣетъ спросить его по одному предмету.

— Позвольте у насъ узнать, что значитъ слово «фуфлыга»? Меня вчера называлъ вашъ человѣкъ этимъ словомъ. — Отецъ, взглянувъ на тутъ же бывшаго двороваго и на меня съ братомъ, догадался, въ чемъ дѣло, улыбуясь и сказалъ:

— Это значитъ живой и любезный господинъ.

Видимо пѣмецъ не очень то повѣрилъ этому объясненію. «А еслибы вамъ сказали, — продолжалъ онъ, обращаясь къ отцу моему, — ахъ, какой вы фуфлыга! — вы бы не обидѣлись?»

— Напротивъ, я принялъ бы это за комплиментъ.

«Пѣмецъ этотъ былъ чрезвычайно чувствителенъ. Начнетъ читать ученикамъ что нибудь изъ Шиллера и всегда съ первыхъ же словъ расплачется. Впрочемъ жилъ онъ у насъ не долго. Скоро узнали, что онъ не болѣе какъ сѣдельникъ, никакой педагогической подготовки до прїѣзда къ намъ не имѣлъ, — и его уволили.»

Въ этомъ странномъ воспитаніи на русскую грамоту — а о литературѣ нечего уже и говорить — почти не обращали вниманія. Читать и писать Тургеневъ научился неизвестно когда и даже неизвестно какимъ образомъ, по всей вѣроятности отъ дворян. Однакоже одинъ изъ дворовыхъ ознакомилъ его и съ родной литературой. Дѣло ознакомленія происходило слѣдующимъ образомъ, по рассказу самого Тургенева:

«Невозможно передать чувства, котораго я испытывалъ, когда, улучивъ удобную минуту, Пунинъ внезапно, словно сказочный пустынный или добрый духъ, появлялся передо мною съ увѣсистой книгой подъ мышкой и, украдкой кивая длиннымъ, кривымъ пальцемъ и таинственно подмигивая, указывалъ головой, бровями,

печами, всѣмъ тѣломъ на глубь и глушь сада, куда никто не могъ проникнуть за нами и гдѣ невозможно было насъ отыскать!

Вотъ удалось намъ уйти незамѣченными; вотъ мы благополучно достигли одного изъ нашихъ тайныхъ мѣстечекъ; вотъ мы спимъ уже рѣдко, вотъ уже и книга медленно раскрывается, издавая рѣзкій, для меня тогда неизъяснимо пріятный запахъ плѣши и старья! Съ какимъ трепетомъ, съ какимъ волненіемъ и ответственнаго ожиданія гляжу я въ лицо, въ губы Пушкина—въ эти губы, изъ которыхъ вотъ, вотъ полетѣла сладостная рѣчь. раздаются наконецъ первые звуки чтенія... Все вокругъ исчезаетъ... нѣтъ, не исчезаетъ, а становится жалкимъ, заволакивается дымкой, оставляя за собой одно лишь впечатлѣніе чего-то ружейнаго и покровительственнаго... Пушкинъ преимущественно придерживался стиховъ, звонкихъ, многосумныхъ стиховъ: душу вою онъ готовъ былъ положить за нихъ! Онъ не читалъ, онъ выкрикивалъ ихъ торжественно, залихватно, раскатисто, въ носъ, какъ опьянѣлый, какъ изступленный, какъ Пюш! И еще отъ какая за нимъ водилась привычка: сперва прожужжитъ тихъ тихо, въ полъ-голоса, какъ бы бормоча. Это онъ называлъ читать на чернѣ, потомъ уже грянетъ тотъ же самый стихъ на флю и вдругъ вскочитъ, подниметъ руки не то молитвенно, не то повелительно. Такимъ образомъ мы прочли съ нимъ не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира (чѣмъ старѣе были стихи, чѣмъ больше они приходились Пушкину по вкусу),—но даже «Россіада» Хераскова! И правду говори, она, эта самая «Россіада», меня въ особенности восхитила. Тамъ между прочимъ дѣйствуетъ одна мужественная татарка, великанша-героиня; теперь я самое имя ея позабылъ, а тогда у меня и руки, и ноги холодѣли, какъ только оно упоминалось! «Да! —говаривалъ бывало Пушкинъ, значительно кивая головой:—Херасковъ—тотъ спуску не дастъ! Пюшъ разъ такой выдвинетъ стихокъ,—просто зашибетъ... Только держись!.. Ты его постигнуть желаешь, а ужъ онъ вотъ гдѣ! и трубить, трубить, аки кимвалонъ! За то ужъ и имя ему дано! одно слово Херрасковъ!!» —Ломоносова Пушкинъ упрекалъ въ слишкомъ простомъ и вольномъ слогѣ, а къ Державину относился почти враждебно, говоря, что онъ болѣе царедворецъ, нежели пѣта... Въ нашемъ домѣ не только не обращали никакого вниманія на литературу и поэзію, но даже считали стихи, особенно русскіе стихи, за нѣчто совсѣмъ непристойное и наглое; бабушка ихъ даже не называла стихами, а кантами; всякій сочинитель кантовъ былъ,

по ея мѣнѣю, либо пьяница горькій, либо круглый дуракъ. Воспитанный въ подобныхъ понятіяхъ, я неминуемо долженъ былъ либо съ гадливостью отвернуться отъ Пунина—онъ же къ тому былъ неопытенъ и неряшливъ, что тоже оскорбляло мои барскія привычки—либо, увлеченный и побѣжденный имъ, послѣдовать его примѣру, заразиться его стихобѣсіемъ. Оно такъ и случилось. Я тоже началъ читать стихи или, какъ выражалась бабушка, воспѣвать канты... даже попытался самъ нѣчто сочинить, а именно описаніе шарманки, въ которомъ находились слѣдующіе два стихка:

Вотъ вертится толстый валъ
И зубами защекалъ...

«Пунинъ одобрилъ въ этомъ описаніи нѣкоторую звукоподражательность, но самый сюжетъ осудилъ, какъ низкій и недостойный дѣлаго брицанія»...

Иванъ Сергѣевичъ съ самаго начала пользовался особеннымъ расположеніемъ матери. Впрочемъ Варвара Петровна не такая была женщина, чтобы выказывать кому бы то ни было и передъ кѣмъ бы то ни было свои нѣжныя чувства. Ей казалось, что всякое проявленіе чувства должно было уменьшить ея власть, обаяніемъ которой она упиалась до сладострастія и пользовалась ею съ своего рода мстительнымъ оттѣнкомъ,—что легко объясняется униженіями, вынесенными ею въ молодости. Будущаго писателя пороли не меньше братьевъ, и особенная любовь матъ къ сыну проявилась лишь впоследствии.

За время своего дѣтства Тургеневу пришлось вмѣстѣ съ своими родителями объѣхать Западную Европу, но эта поѣздка не оставила въ немъ никакихъ воспоминаній: онъ былъ слишкомъ молодъ, всего четырехъ лѣтъ. Онъ помнилъ впрочемъ, какъ однажды, сильно захворавъ, лежалъ въ своей постелькѣ при смерти и къ нему приходили, чтобы снять съ него мѣрку для гроба, — помнилъ также, какъ въ берлинскомъ звѣринцѣ едва не попалъ въ яму къ медвѣдямъ, но во-время былъ спасенъ.

Послѣ заграничнаго путешествія, торжественнаго, роскошнаго совершавшагося цѣлымъ поѣздомъ въ многочисленныхъ экипажахъ, съ десятками слугъ,—Тургеневы вернулись въ Россію опять поселились въ Спасскомъ, окруженные изобиліемъ своего богатого дворянскаго гнѣзда. Жили весело, шумно, разнообразно. *Гости не выѣзжали со двора, прекрасныя лошади, своры собакъ*

вереница покорныхъ слугъ, полная возможность предаваться легкомысленному ребяческому разврату, истощившему цѣлыя поколѣнія стараго барства, — праздная, безпутная жизнь, создававшая въ такомъ изобиліи излюбленныхъ тургеневскихъ героев — лишнихъ людей — все это было къ услугамъ каждаго, и каждый жадно пользовался хмѣльнымъ наиткомъ грубыхъ, чувственныхъ наслажденій. А что тамъ, на конюшнѣ, шли дикія истязанія за неподогрѣтую рюмку вина, за пережареннаго цыпленка, за хмурый взглядъ, — что возлѣ пруда плакалъ бѣдняга Герасимъ надъ своей собаченкой, — что изъ села то и дѣло выѣзжали телѣги съ рекрутами или предназначенными на поселенія, что въ избахъ были бабы, чьи дочери распродавались въ одиночку для извѣстныхъ цѣлей, — кому какое дѣло было до всего этого? И особенно замѣчательно, что въ душѣ такихъ гордыхъ, властныхъ помѣщиковъ, какъ В. Н., царило совершенно олимпійское спокойствіе. Ни тѣни даже минутнаго, не скажу уже раскаянія, а просто сомнѣнія въ своей правотѣ, хотя малѣйшей стыдливости. Сомнѣніе, стыдливость, мука раскаянія появились позже и, накопившіяся поколѣніями, невообразимой тяжестью обрушились на менѣе крѣпкія первы потомковъ и истерзали ихъ. Лишніе люди: Гамлеты Щигровскаго уѣзда, Рудины, Лаврецы, Неждановы, Вершинины — всѣ эти погибшіе неудачники представляютъ собою страшную расплату, потребованную природой за грѣхи Тургеневыхъ, Лутовиновыхъ, Салтыковыхъ. Исторія справедлива только не въ нашемъ человѣческомъ смыслѣ, ибо для нея не существуетъ личности, но нѣтъ грѣха и неправды, которыя рано или поздно не были бы отомщены сторицею. Думали ли феодальные бароны, обиравшіе и истязавшіе своихъ крѣпостныхъ, что кровь ихъ титулованныхъ потомковъ дымящейся лужей будетъ стоять, не просыхая, на Гревской площади, вызывая крики кровожаднаго восторга? думали ли помѣщики, издѣвавшіеся надъ своими крестьянами, что ихъ любимые, балованные сыновья заплатятъ за это издѣвательство грозными муками совѣсти, стыда, раскаянія, бѣдствія и даже своею нравственной гибелью? Не думали — и если это оправданіе, оправдаетъ и ихъ!...

Но несомнѣнно, что въ воспитаніи, полученномъ Тургеневымъ въ Снасскомъ, были и свои хорошія стороны. Прежде всего замѣтимъ, что, благодаря безалаберности, царившей въ этомъ переполненномъ празднымъ, постороннимъ народомъ домѣ, безалаберности необходимой и неизбежной, несмотря на министровъ двоѣ —

стровъ почтъ—онъ пользовался завидной свободой. Онъ то и дѣло оставался одинъ и, пользуясь минутами одиночества, любилъ забираться въ глубь роскошнаго Спасскаго сада.

«Садъ этотъ кажется какой-то большой рощей, расположенной на плоской возвышенности, онъ по всѣмъ направленіямъ изрѣзанъ то длинными, прямыми, вѣчно тѣнистыми липовыми и березовыми аллеями, то узкими, прихотливо изгибающимися, дорожками, полу-закрытыми роскошными кустами. Старыя сосны, ели и могучіе дубы, разбросанные тамъ и сямъ, разнообразятъ общее впечатлѣніе, а крутой спускъ къ пруду красиво заканчиваетъ картину. Прудъ этотъ,—какъ впоследствии припоминалъ самъ Тургеневъ—изобилывалъ рыбою. Здѣсь,—разсказывалъ онъ,—водились не только караси и лещики, но даже голцы попадались, знаменитые, нынче совсѣмъ исчезнувшіе. Въ головѣ этого пруда засѣлъ густой лознякъ; дальше вверху, по обоимъ бокамъ густаго косогора, шли сплошные кусты орѣшника, бузины, жимолости, терна, поросшіе снизу верескомъ и зорей. Лишь кое гдѣ между кустами выдавались крохотныя полянки изумрудно-золотой, шелковистой, тонкой травой, среди которой, забавно пестрѣя своими розовыми, липовыми, палевыми шапочками, выглядывали приземистыя сыровѣжки и свѣтлыми пятнами загорались шарикъ «скуриной слѣпоты». Тутъ—говоритъ поэтъ—по веснамъ иѣвали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки, тутъ и въ лѣтній зной стояла прохлада,—и я любилъ забиваться въ эту глушь и чащу, гдѣ у меня были фаворитныя, постоянныя мѣстечки, извѣстныя,—такъ, по крайней мѣрѣ, я воображалъ!—только мнѣ одному.»

Въ этомъ же саду онъ, какъ помнитъ читатель, восхищался Херасковымъ вмѣстѣ съ Пунинымъ, а слушая пѣніе соловьевъ или пробираясь въ кустахъ жимолости, постепенно накоплялъ въ душѣ живыя впечатлѣнія природы. Симпатичные люди изъ дворян, вроде Пунина, внушали ему любовь къ простому народу, а сцены помѣщичьяго произвола давали матеріалъ для будущей сознательной ненависти къ рабству и будущей аннибаловской клятвы!..

Въ 1830 году Тургенева отправили въ Москву и отдали въ частный пансіонъ Вейденгаммера, такъ какъ вообще дворяне того времени старались избѣгать гимназій, гдѣ ихъ дѣти могли встрѣтиться съ разночинцами. Но у Вейденгаммера Тургеневъ оставался не долго и вскорѣ перешелъ опять-таки въ пансіонъ директора армянскаго-лазаревскаго института Краузе. Учителя здѣсь были порядочные, съ особенной же любовью Тургеневъ вспоминалъ всегда о иѣкомъ Дубенскомъ, преподавателѣ русской словесности. Дубенскій былъ честный, преданный своему дѣлу педагогъ стараго закала, основательно знакомившій дѣтей съ ли-

тературой, воспитывая ихъ на сочиненіяхъ Карамзина, Батюшкова, Жуковского. Пушкина Дубенскій не долюбивалъ за его вольности и даже съ негодованіемъ относился къ нему, находя, какъ и Пунинъ, что онъ воспѣваетъ вещи низкія и недостойныя лиричнаго бряцанія. Вообще литературное образованіе Тургенева въ пансіонѣ у Краузе значительно подвинулось впередъ; здѣсь же между прочимъ онъ изучилъ и англійскій языкъ, что вмѣстѣ съ знаніемъ французскаго и нѣмецкаго составляло уже порядочный умственный капиталъ для того времени. Иностранные языки, кстати замѣтить, давались Тургеневу очень легко, и владѣлъ онъ ими въ совершенствѣ. Одно время даже сильно были распространены слухи, что многія свои произведенія онъ пишетъ предварительно по-французски или нѣмецки, а потомъ уже переводитъ на русскій. Слухи эти Тургеневъ опровергъ съ негодованіемъ.

Изъ пансіона Краузе Тургеневъ въ 1834 г. поступилъ на словесный факультетъ Московскаго университета, гдѣ однако пробылъ не долго, и въ слѣдующемъ году перешелъ въ Петербургскій университетъ, опять словесникомъ. За время пребыванія Тургенева въ Москвѣ студентомъ умеръ его отецъ, истощенный долгой и мучительной болѣзнію—результатомъ барскихъ излишествъ. Неизвѣстно, что собственно заставило Тургенева перейти въ Петербургъ, такъ какъ мать его поселилась послѣ смерти мужа въ Москвѣ. Всего вѣроятнѣе, что юнаго студента привлекала та свобода, которой онъ пользовался, живя внѣ семьи.

Положеніе Петербургскаго университета въ научномъ отношеніи было въ то время далеко не блестящее. Кромѣ ректора Н. Л. Петнева, литератора, друга и соредактора Пушкина по «Современнику», ни одинъ изъ профессоровъ не пользовался извѣстностью. Лекціи обыкновенно читались по русскому, а всего чаще нѣмецкому учебнику, предварительно разсмотрѣнному начальствомъ и тщательно процензурованному. По учебнику составлялись жиденькіе конспекты, зубреніемъ которыхъ и занимались студенты передъ экзаменами. Наука была не въ авантажѣ какъ среди учащихся, такъ и учащихся. Послѣдніе, въ большинствѣ случаевъ обезпеченные баричи, вели жизнь разсѣянную, полную нездоровыхъ удовольствій, вродѣ кутежей, картъ и т. д. Несмотря однако на то, что Петербургскій университетъ далъ Тургеневу очень мало въ любомъ отношеніи, мы остановимся не надолго на нѣкоторыхъ изъ его преподавателей.

Плетневъ, читавшій словесность, несмотря на отсутствие большихъ свѣдѣній, имѣлъ однако вліяніе на молодежь, такъ какъ искренне любилъ свой предметъ.

«Онъ обладалъ,—разсказываетъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—нѣсколько робкимъ, но чистымъ и тонкимъ вкусомъ и говорилъ просто, ясно, не безъ теплоты. Главное: онъ умѣлъ сообщать своимъ слушателямъ тѣ симпатіи, которыми самъ былъ исполненъ—умѣлъ заинтересовать ихъ... Притомъ его,—какъ человека, прикосновеннаго къ знаменитой литературной плеядѣ, какъ друга Пушкина, Жуковского, Баратынскаго, Гоголя, какъ лицо, которому Пушкинъ посвятилъ своего «Онѣгина»,—окружалъ въ нашихъ глазахъ ореолъ. Всѣ мы наизусть знали стихи: «Не мысли гордый свѣтъ забавить», и т. д. Пѣйствительно, Петръ Александровичъ подходилъ на портреты, набросанный поэтомъ; это не былъ обычный комплиментъ, которыми такъ часто украшаются посвященія. Кто зналъ Плетнева, не могъ не признать въ немъ

Души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высокихъ думъ и красоты.

Онъ принадлежалъ къ эпохѣ, нынѣ безвозвратно прошедшей; былъ наставникъ стараго времени, словесникъ, не ученый, но по своему—мудрый».

Какъ мы сейчасъ это увидимъ, благодаря Плетневу, Тургеневъ завязалъ нѣкоторые литературныя знакомства и даже впервые выступилъ въ печати. Философію читалъ Фишеръ, извѣстный тѣмъ, что не называлъ Руссо иначе какъ «надменнымъ женецкимъ гражданиномъ» и что, по порученію начальства, составилъ «обезвреженный» учебникъ естественнаго права. По мнѣнію того же Фишера: «Монтескье впускалъ по каплѣ незамѣтный ядъ въ умы многочисленныхъ читателей, усиливая въ нихъ суетное желаніе нововведеній». Во всѣхъ произведеніяхъ «надменнаго женецкаго гражданина» Фишеръ нашелъ только одни замѣчательныя слова, а именно: «правленіе столь совершенное (демократія) не годится для людей». Читатель видитъ, что Фишеръ твердо держался курса николаевской эпохи и настолько думалъ о наукѣ, сколько о дезинфекціи юныхъ умовъ отъ тлетворнаго и суетнаго желанія нововведеній. На кафедрѣ исторіи Тургеневъ засталъ Куторгу, въ то время молодого, только что вернушагося изъ Германіи, ученаго, горячаго поклонника критической школы Нибура, — Шульгина, читавшаго блѣдно и тихо, — Устрялова, приводившаго въ своихъ лекціяхъ факты

преимущественно патріотическаго характера, — и одно время Гоголя, вообразившаго почему-то себя человѣкомъ науки. «Преподаваніе Гоголя, — пишетъ Тургеневъ, — правду сказать, пропеходило оригинальнымъ образомъ. Во-первыхъ, Гоголь изъ трехъ лекцій непременно пропускалъ двѣ; во-вторыхъ, даже когда онъ появлялся на кафедрѣ, онъ не говорилъ, а шепталъ что-то весьма несвязное, показывая намъ маленькія гравюры на стали, изображавшія виды Палестины и другихъ восточныхъ странъ, и все время ужасно конфузился. Мы всѣ были убѣждены, что онъ ничего не смыслитъ въ исторіи... Иѣтъ сомнѣнія, что онъ самъ хорошо понималъ весь комизмъ и всю неловкость своего положенія: онъ въ томъ же году (1835 г.) подалъ въ отставку». Изъ лекцій своихъ профессоровъ-классиковъ Тургеневъ вынесъ настолько мало, что впоследствии въ Берлинѣ ему пришлось начинать съ грамматики.

Ничего яркаго, интереснаго нѣтъ въ университетскихъ впечатлѣніяхъ Тургенева, стоитъ остановиться лишь на его отношеніяхъ къ Плетневу. Со студентами, надо замѣтить, Плетневъ держалъ себя просто, по отечески, такъ что они довѣряли ему даже свои первые литературные опыты. Это же сдѣлалъ и Тургеневъ: «Я — рассказываешь онъ — представилъ на разсмотрѣніе Плетневу одинъ изъ первыхъ плодовъ моей музы, — какъ говорилось въ старину, — фантастическую драму въ пятистопныхъ ямбахъ «Отецъ». Въ одну изъ слѣдующихъ лекцій Петръ Александровичъ, не называя меня по имени, разобралъ съ обычнымъ своимъ добродушіемъ это совершенно нелѣпное произведеніе, въ которомъ съ дѣтской неумѣlostью выражалось рабское подражаніе «Манфреду». Выходя изъ зданія университета и увидавъ меня на улицѣ, онъ подозвалъ меня къ себѣ и отечески пожурилъ меня, впрочемъ однако замѣтивъ, что во мнѣ *что-то* есть. Эти два слова возбудили во мнѣ смѣлость отнести къ нему нѣсколько стихотвореній; онъ выбралъ изъ нихъ два и годъ спустя напечаталъ ихъ въ «Современникѣ». Тургеневъ бывалъ даже на литературныхъ вечерахъ у Плетнева и встрѣчалъ здѣсь писателей, впрочемъ второстепенныхъ, за исключеніемъ Кольцова. Мимоходомъ онъ видѣлъ и Пушкина, и вотъ строки, гдѣ онъ говоритъ о тогдашнемъ своемъ отношеніи къ великому поэту: «Пушкинъ былъ въ эту эпоху для меня, какъ и для многихъ моихъ сверстниковъ, чѣмъ-то вроде полубога. Мы дѣйствительно поклонялись ему» — и это свое поклоненіе Тургеневъ, какъ извѣстно, сохранилъ на всю жизнь.

Литературныя знакомства Тургенева за время его студенчества были случайны и мимолетны: нѣсколько задушевныхъ разговоровъ съ Плетневымъ, нѣсколько фразъ, обмѣненныхъ съ Кольцовымъ, нѣсколько восторженныхъ взглядовъ на «полубога» Пушкина—этими исчерпываются литературныя впечатлѣнія будущаго писателя. Ближе чѣмъ съ писателями сходилъ онъ со свѣтскими людьми, въ чьи гостиныя онъ имѣлъ свободный доступъ, какъ богатый и родовитый юноша. Но влеченіе къ литературѣ онъ несомнѣнно чувствовалъ уже и въ настоящее время, самъ пробовалъ свои силы въ стихахъ и старательно изучалъ въ подлинникѣ лучшія произведенія иностранныхъ авторовъ — Байрона, Шекспира и Сервантеса по преимуществу. Каждое лѣто онъ проводилъ у матери въ Спасскомъ, обновляя свои «крѣпостническія» впечатлѣнія, много читалъ, охотился, забираясь иногда въ лѣсъ на цѣлыя дни съ ружьемъ за плечами.

На его мѣстѣ можно было быть счастливымъ, еслибы не какая-то духота, которая проникала собою атмосферу той эпохи. Эту духоту ощущали всѣ молодые даровитые люди тридцатыхъ годовъ, оттого-то такъ и рвался тогда за границу, хотя получение паспорта было цѣлой исторіей и стоило большихъ денегъ (500 р. с.). Но хотѣлось видѣть другую, здоровую жизнь, а главное не хотѣлось видѣть этой окружающей суровой жизни. На самомъ дѣлѣ не веселая картина открывалась тогда наблюдателю: «на улицѣ тебѣ попадалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генераль и даже не начальникъ, а такъ просто генераль оборветъ или, что еще хуже, поощритъ тебя... Посыла слухи о закрытіи университетовъ, вскорѣ потомъ сведенныхъ на 300-енный комплектъ, поѣздки за-границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно виситъ надъ всѣмъ, такъ называемымъ, ученымъ литературнымъ вѣдомствомъ, а тутъ еще шипятъ и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общихъ интересовъ, страхъ и приниженность во всѣхъ, хоть рукой махни!...» Да, душно было въ обществѣ, гдѣ всѣ боялись другъ друга и сидѣли по разнымъ угламъ нануганные; душно въ стѣнахъ университета за лекціями, преисполненными страха іудейскаго; душно въ имѣніи, гдѣ царило крѣпостничество. Поневолѣ люди рвались за-границу, гдѣ еще недавно раздавались гордые нѣсни Байрона, гдѣ только что была создана грандіозная философская система Гегеля, властно подчинившія себѣ умы, гдѣ

съ кафедръ и трибуны раздавался высокія, а подчасъ и великія слова. Прибавьте къ этому любознательность молодости, сознание недостатковъ собственнаго образованія и вы увидите, почему Тургеневъ такъ рвался за-границу, куда и отправился, какъ только закончилъ курсъ въ университетѣ, что случилось въ 1838 г.

Въ заключеніе этой главы скажу нѣсколько словъ о литературѣ 30-ыхъ годовъ. Характеризуя ее, Тургеневъ пишетъ:

«Подъ вліяніемъ особенныхъ случайностей, особенныхъ обстоятельствъ тогдашней жизни Европы (съ 1830 по 1840 годъ) у насъ немалому сложилось убѣжденіе, конечно справедливое, но въ ту эпоху едва ли не рановременное,—убѣжденіе въ томъ, что мы не только великій народъ, но что мы—великое, вполне овладѣвшее собою, незыблемо-твердое государство, и что художеству, что поэзіи предстоитъ быть достойными провозвѣстниками этого величія и этой силы.... Явилась цѣлая фаланга людей, безспорно даровитыхъ, но на даровитости которыхъ лежалъ общій отпечатокъ виѣшности, соответствующей той великой, но чисто-виѣшной силѣ, которой они служили отголоскомъ. Люди эти явились и въ поэзіи, и въ живописи, и въ журналистикѣ, и даже на театральныхъ подмосткахъ (Марлинскій, Кукольникъ, Загоскинъ, Бенедиктовъ, Брюловъ, Каратыгинъ, и друг.). «Это вторженіе въ общественную жизнь того, что мы рѣшились бы назвать *ложно-величавой школой*, продолжалось недолго.... Произведенія этой школы, проникнутыя самоувѣренностью, доходившей до самохвальства, посвященныя возвеличенію Россіи во что бы то ни стало,—въ самой сущности не имѣли ничего русскаго, это были какія-то пространныя декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутыя патріотами, не знавшими своей родины.»

Эта барабанная поэзія, напоминавшая нѣсколько тѣ времена, когда Херасковъ пѣлъ «Россію свободенну, попранну власть татаръ и гордость низложенну», а Державинъ—Фелицу, встрѣтила однако серьезный и даже могучій отпоръ въ самой литературѣ. Просто удивительно, откуда въ то время брались силы, какъ успѣвали онѣ проявляться, а между тѣмъ этихъ силъ на сценѣ было больше чѣмъ когда. Въ 30-ыхъ годахъ во главѣ литературы стояли: Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Кольцовъ, Жуковский, Вяземскій; какъ критикъ, въ 34 г. началъ свою дѣятельность Вѣлиинскій; среди молодого поколѣнія уже были, хотя и въ эмбріональномъ еще состояніи: Тургеневъ, Некрасовъ, Достоевскій, Григоровичъ, Гончаровъ, Островскій. Разумѣется, съ такими гигантами не подѣ стать было справиться барабанной поэзіи, и ея ложные боги, вродѣ Бенедиктова и Языкова, Вестужева-Марлинскаго, стали быстро падать одинъ за другимъ.

каждая статья Вѣлинскаго вычеркивала когонибудь изъ списка кумировъ и усаживала его на жордочку, подчасъ очень скромную. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Около сороковыхъ годовъ жизни изъ подъ туго придавленныхъ клапановъ стала прорываться сила иѣе. Во всей Россіи произошла едва уловимая перемѣна, — та перемѣна, по которой врачъ замѣчаетъ прежде отчета и пониманья что въ болѣзни есть поворотъ къ лучшему, что силы очень слабы, но будто поднялись. Гдѣ-то внутри, въ нравственно микроскопическомъ мірѣ, повѣялъ иной воздухъ, больше раздражительный, но и больше здоровый. Наружно все было спокойно, но что-то пробудилось въ сознаниіи, въ совѣсти — какое-то чувство не ловкости, неудовольствія...

Двѣ баттары выдвинулись скоро. Периодическая литература дѣлается пронагандиой, во главѣ ея становятся въ полномъ разгарѣ молодыхъ силъ Вѣлинскій. Университетскія кафедрныя профессора обращаются въ паломники, лекціи — въ проповѣди о человѣченіи, личность Грановскаго, окруженнаго молодыми доцентами, выдается больше и больше...

Вдругъ еще взрывъ смѣха. Страннаго смѣха, страшнаго смѣха смѣха судорожнаго, въ которомъ былъ и стыдъ, и угрызеніе совѣсти словомъ — смѣха Гоголя. Цѣлѣнный, уродливый, узкій міръ «Мертвыхъ Душъ» не вынесъ, осѣлъ и сталъ отодвигаться. А проповѣдь шла сильнѣй... все одна проповѣдь — и смѣхъ, и плачь, книга, и рѣчь, и Гоголь, и исторія — все звало людей къ сознанию своего положенія; къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ и указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всей традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума.

Особенно тормозилъ Вѣлинскій, тормозилъ и старыхъ, и молодыхъ, особенно, разумѣется, послѣднихъ. Юные баричи, вырвавшіеся изъ своихъ дворянскихъ гнѣздъ, сначала возмущались и матались, а потомъ читали и зачитывались. Самъ Тургеневъ на себѣ испыталъ это.

«Я — пиннетъ онъ — не хуже другихъ унывался стихами Бенедиктова, зналъ много наизусть, восторгался «Утесомъ», «Горами» даже «Матильдой» на жеребѣ, гордившейся «усѣствомъ красивымъ и плотнымъ». Вотъ, въ одно утро зашелъ ко мнѣ студентъ-тваричъ и съ негодованіемъ сообщилъ мнѣ, что въ кондитерской Беранижъ появился № «Телескопа» съ статьей Вѣлинскаго, въ которой этотъ «критиканъ» осмѣливался заносить руку на нашъ общій идолъ, на Бенедиктова. Я немедленно отправился къ Беранижъ, прочелъ всю статью отъ доски до доски — и, разумѣется, также воспи-

лать негодованіемъ. Но, странное дѣло! и во время чтенія, и послѣ, къ собственному своему изумленію и даже досадѣ, что-то во мнѣ невольно соглашалось съ «критиканомъ», находило его доводы убѣдительными... неотразимыми. Я стыдился этого ужъ точно неожиданнаго впечатлѣнія; я старался заглушить въ себѣ этотъ внутренний голосъ; въ кругу друзей я съ болѣе еще рѣзкостью отзывался о самомъ Бѣлинскомъ и объ его статьяхъ... но въ глубинѣ души что-то продолжало шептать и мнѣ, что *онъ былъ правъ*... Прошло нѣсколько времени—и я уже не читалъ Бенедиктова. Кому же неизвѣстно теперь, что мнѣнія, высказанныя тогда Бѣлинскимъ,—мнѣнія, казавшіяся дерзкой новизной, стали всеми принятымъ общимъ мѣстомъ.»

Итакъ, передъ нами два направленія—«ложно-величавое» и «критическое». Въ первомъ лагерѣ находились дарованія средней руки, во второмъ—истинные гении, какъ Гоголь и Лермонтовъ, и такая прекрасная, дѣтски чистая душа, какъ Бѣлинскій. На чью сторону встать? Этотъ вопросъ не могъ не задать себѣ юноша, рѣшавшійся выступить на литературное поприще въ ту эпоху. Воспѣвать ли *россовъ*, или указывать *русскимъ* людямъ ихъ косность, невѣжество, жестокость; защищать ли ликующій шовинизмъ, или опровергать знаменитую формулу: «все благополучно, и града въ вѣренномъ мнѣ уѣздѣ, согласно приказанію Вашества, не было»...

Мы увидимъ скоро мотивы, заставившіе Тургенева примкнуть къ «критикамъ».

II.

Заграницей.—Сороковые годы.—Тургеневъ и Бѣлинскій.

Я говорилъ уже о причинахъ, заставлявшихъ Тургенева рваться за-границу. Однако осуществить страстное намѣреніе было нелегко. Недостатка въ средствахъ не ощущалось, но В. П. Тургенева какъ разъ къ этому времени переселилась въ Петербургъ и не имѣла ни малѣйшаго желанія отпустить отъ себя, еще въ такую даль, своего любимого сына, тѣмъ болѣе, что старшимъ Николаемъ она только-что разсорилась изъ за е женибты. Но все-же Тургеневу удалось добиться согласія м.

терп на поѣздку, и послѣ долгихъ сборовъ въ назначенный день онъ сѣлъ на пароходъ «Николай I-ый», отправлявшійся въ Любекъ. Нечего и говорить о его радости. 20-ти лѣтъ отъ роду, молодой, здоровый, богатый, ничѣмъ не связанный въ жизни, онъ ѣхалъ въ столицу европейской мысли,—туда, гдѣ била ключемъ «чистѣйшая эссенція философіи», словомъ—въ Берлинъ. Но дорогѣ Тургеневъ едва не погибъ, такъ какъ пароходъ сгорѣлъ на морѣ и пассажиры съ трудомъ высадились на берегъ въ шлюпкахъ. Этотъ эпизодъ послужилъ темой для прелестнаго разсказа Тургенева «Пожаръ на морѣ», написаннаго имъ за мѣсяць до смерти въ 1883 г.,—и для кое-какихъ литературныхъ сплетенъ, изображавшихъ Тургенева въ комическомъ видѣ. Но на этихъ сплетняхъ, по ихъ незначительности, останавливаться мы не будемъ.

Въ Берлинѣ Тургеневъ въ два пріѣзда пробылъ около двухъ лѣтъ. Изъ числа русскихъ, слушавшихъ университетскія лекціи, особенно близко сошелся онъ съ Граповскимъ и Станкевичемъ, которые, какъ всякій это знаетъ, оба были горячими западниками, а нѣсколько позже—съ М. Бакуннымъ, ярымъ гегелианцемъ и даже пророкомъ гегелизма въ Россіи. Самъ онъ занимался философіей, древними языками, исторіей и съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ профессора Вердера. Подъ вліяніемъ впечатлѣній заграничной жизни онъ сталъ ярымъ западникомъ. Западничеству—замѣтимъ это кстаті—суждено было сыграть въ его жизни существеннѣйшую роль. За западничество онъ подвергался безчисленнымъ нападкамъ, выносилъ даже ненависть; за западничество его-же возносили похвалами; самъ онъ видитъ въ западничествѣ красную нить своей умственной жизни; во имя его онъ создалъ своего Потапутина, онъ вдохновлялся имъ, сочиняя рѣзкія тирады противъ добродѣтелей и дарованій, якобы исключительно присвоенныхъ русскому народу.

Мы еще вернемся къ смыслу западничества въ его противопоставленіи славянофильству, пока-же будемъ продолжать нашъ разсказъ.

Въ Берлинѣ Тургеневу жилось весело и хорошо. Извѣстно, что никогда, ни раньше, ни позже, русская интеллигентная молодежь не занималась такъ много разговорами и словопреніями, какъ въ періодъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Возлѣ разговоровъ сосредоточивался зачастую весь смыслъ и интересы бытія. Затрогивались и рѣшались *tant bien, que mal* огромнѣйшіе и отвлеченнѣйшіе вопросы о Богѣ, безсмертіи души, осо-

бенностяхъ народовъ, назначеніи челоѣка, правахъ и обязанностяхъ личности. Всѣ даровитые люди отличались поразительной словоохотливостью и пристрастіемъ къ спорамъ. Споры продолжались цѣлыми днями и ночами, а иногда и сутками—безъ перерыва! — тянулись же недѣлями и мѣсяцами. Много тутъ было, разумѣется, комическаго, ненужнаго, напоминавшаго лепетъ ребенка, только что научившагося говорить и лепечущаго безъ усталости обо всемъ;—много и важнаго, интереснаго, такъ какъ во время преній слагались убѣжденія, которымъ люди оставались вѣрными порою втеченіи всей своей жизни. Разговорами отводили душу, тѣмъ болѣе, что все вело къ разговорамъ. Мерзость настоящаго, неопредѣленность будущаго, отсутствіе какого то ни было жизненнаго дѣла, полная матеріальная обезпеченность лучшихъ интеллигентовъ того времени (за исключеніемъ Вѣлинскаго), изобиліе шампанскаго, безъ котораго не обходилась ни одна вечеринка, потребность свободы, хотя бы только у себя въ дружескомъ кружкѣ, самая легкость разговора, основывавшагося не на фактахъ, а на принципахъ и аксіомахъ гегелевской философіи—все это вдохновляло, горячило, дѣлало слово, споръ сущностью жизни, ея прелестью и красотой. Итъ, мы даже не умѣемъ говорить такъ искренно, съ такимъ увлеченіемъ, какъ наши дѣды, намъ совѣстно было-бы говорить такъ много, съ такимъ азартомъ, какъ 50 лѣтъ тому назадъ. Но перенеситесь въ ту эпоху и вы увидите, что нельзя было не говорить, надо было говорить, чтобы хотя на минуту отвести душу. Вотъ Вакуинъ развалился на диванѣ и занялъ его весь своей огромной фигурой; онъ гремѣть своимъ раскатистымъ голосомъ, наизусть цитируетъ цѣлыя страницы изъ Гегеля, не задумываясь, рѣшаетъ великіе и малые вопросы; что-то богатырское есть въ его фигурѣ, голосѣ, жестахъ; — гдѣ нибудь у окна присѣлъ тихій, прекрасный Станкевичъ, съ доброй улыбкой на больномъ лицѣ, съ восторженными глазами; онъ ждетъ минуты, чтобы вставить свое задумчивое слово;—вотъ и самъ Тургеневъ, тоже гигантъ ростомъ и умомъ, но тогда еще ученикъ, покорно выслушивающій поученія старшихъ;—Грановскій съ своимъ задумчивымъ, неопредѣленно устремленнымъ взглядомъ, своей изящной рѣчью, своимъ серебристымъ подкупающимъ голосомъ. Проидетъ не много лѣтъ и за тѣми-же разговорами мы застанемъ новыхъ лицъ, хотя и не увидимъ уже прекраснаго лица Станкевича и не услышимъ больше его задумчиваго голоса. *Сверзка*

глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ по комнатѣ, будетъ волноваться Вѣлинскій и нападать съ комической яростью на барьеры, вродѣ Тургенева, за ихъ бездѣлье, за привязанность къ чистой красотѣ и размахивая руками кричать своимъ тонкимъ голоскомъ, волнуясь и спѣша. Небольшая, вся созданная изъ мускуловъ и нервовъ, фигура Герцена займетъ центральное мѣсто. Его рѣчь «дьявольски умная» (какъ говоритъ Вѣлинскій), полная остротъ, неожиданныхъ сопоставленій, обаянія огромнаго отточеннаго ума сыграетъ эпоху въ этихъ разговорахъ и поведетъ за собою къ дѣлу многихъ и многихъ изъ слушающихъ его. Онъ заставитъ робкихъ людей (какъ Грановскій, Кавеликъ) еще глубже уйти въ себя, но онъ вызоветъ къ жизни все дѣятельное, энергичное, и море словъ перестанетъ такъ безцѣльно волноваться и шумѣть. Прослѣдите эти разговоры и вы найдете въ нихъ тридцатые годы съ ихъ романтизмомъ и культомъ Гегеля, сороковые, съ ихъ народничествомъ, а въ лицѣ Герцена, Некрасова передъ вами возстанетъ первый образъ шестидесятыхъ рабочихъ годовъ...

Въ Берлинѣ, повторяю, Тургеневу жилось хорошо, весело. Въ семействѣ Фроловыхъ часто собирались русскіе студенты и встречали здѣсь всегда ласковый, душевный приемъ. Самъ Тургеневъ поселился на квартирѣ съ однимъ изъ своихъ товарищей русскихъ, увлеченныхъ по модѣ того времени Гегелемъ до мозга костей. «Товарищъ» заставлялъ его штудировать философію и отечески слѣдить за его нравственностью.

Такъ прошло два года, за время которыхъ случилось только одно по истинѣ грустное событіе—смерть Станкевича. Вотъ, что писалъ по этому поводу Тургеневъ Грановскому: «насъ постигло великое несчастіе, Грановскій. Едва я могу собраться съ силами писать. Мы потеряли человѣка, котораго мы любили, въ кого мы вѣрили, кто былъ нашей гордостью и надеждой. 24 іюня въ Новомъ скончался Станкевичъ. Я бы могъ, я бы долженъ здѣсь кончить письмо.—Что остается мнѣ сказать—къ чему вамъ теперь мои слова? не для васъ, болѣе для меня продолжаю я письмо: я сблизился съ нимъ въ Римѣ, я его видѣлъ каждый день и началъ оцѣнять его свѣтлый умъ, теплое сердце, всю прелесть его души. Тѣнь близкой смерти уже тогда лежала на немъ... Я оглядываюсь, пишу напрасно. Кто изъ нашего поколѣнія можетъ замѣнить нашу потерю?.. Кто достойнѣй приметъ отъ умершаго завѣщаніе его великихъ мыслей и не дастъ погибнуть его влія-

нію, будетъ идти по его дорогѣ, въ его духѣ, съ его силой?.. Но итъ, мы не должны унывать и преклоняться. Сойдемтесь—дадимъ другъ другу руки, станемъ тѣснѣе: одинъ изъ насъ упалъ, быть можетъ лучшій. Но возникаютъ, возникнутъ другіе: рука Бога не перестаетъ сѣять въ души зародыши великихъ стремленій, и рано или поздно свѣтъ побѣдитъ тьму.»

Какъ ни риторична форма этого письма — оно несомнѣнно искренне.

Вернувшись изъ за границы, Тургеневъ въ 1843 г. впервые серьезно выступилъ на литературное поприще своей поэмой «Параша». Ничего особеннаго, выдающагося, чегонибудь такого, что предвѣщало бы нарожденіе новаго крупнаго таланта, въ этомъ произведеніи нѣтъ. Однако оно возбудило довольно шумные толки, такъ какъ западничество Тургенева вылилось въ «Парашѣ» полностью и даже съ юношескимъ задоромъ. «Заподорѣвъ въ немъ,—говоритъ Анненковъ,—съ первыхъ же его шаговъ истаго западника, партія, недружелюбно смотрѣвшая на образцы чуждаго воспитанія и развитія, словно задалась мыслью собрать какъ можно болѣе помѣхъ на его жизненномъ пути. Цѣлая коллекція пустыхъ анекдотовъ о его словахъ, выраженіяхъ, замѣчаніяхъ собиралась тщательно противниками и пускалась въ ходъ съ нужными прикрасами и дополненіями. О произведеніяхъ Тургенева до «Записокъ Охотника»—иначе и не говорили, какъ о чудовищностяхъ западнаго развитія, пересаженныхъ на русскую почву безъ всякаго признака таланта. Не такъ думалъ Вѣлинскій, открывшій сразу въ «Парашѣ» признаки недюжинной авторской наблюдательности и способности выбирать оригинальную точку зрѣнія на предметы: «что мнѣ за дѣло до всѣхъ анекдотовъ о немъ—говорилъ Вѣлинскій,—кто написалъ «Парашу»,—тотъ сумѣетъ поправить себя въ чемъ будетъ нужно и когда будетъ нужно»...

Самъ Тургеневъ между тѣмъ, выпустивъ въ свѣтъ «Парашу», уѣхалъ въ Спасское и жилъ тамъ, со страстью отдаваясь своему любимому занятію—охотѣ. Единственно, чего онъ ждалъ, была рецензія Вѣлинскаго, которая, какъ онъ зналъ, должна была появиться въ «Отечественныхъ Запискахъ». Пробовалъ онъ было читать свою вещь въ Спасскомъ матери, но Варвара Петровна только зѣвала, слушая стихи, и покачивала головой, удивляясь сыну, которому была охота сочинять канты. «Поэтичь не могу, говаривала она,—какая тебѣ охота быть писателемъ? *Дворникова*

ли это дѣло? По моему, писатель и писарь одно и то-же... И тотъ, и другой за деньги бумагу мараютъ... Дворянинъ долженъ служить и составить себѣ карьеру и имя службой, а не бумагомараньемъ... Да и кто-же читаетъ русскія книги?» — «Но вѣдь ты-же сама любила и уважала Жуковского» — возражалъ Тургеневъ. — «Ахъ, это совсѣмъ другое — Жуковскій! — Какъ его не уважать, — ты знаешь, какъ онъ близокъ ко двору». Въ душѣ Варвара Петровна рѣшила, что сынъ блажить и мѣшать его блажи не хотѣла: сама пройдетъ... Да и почему не поблажить въ 25 лѣтъ? — вѣдь блажь тоже дворянское дѣло.

Но вотъ наступилъ май мѣсяцъ и въ новой книгѣ «От. Зап.» появилась нетерпѣливо ожидавшаяся рецензія Вѣлинскаго. Тургеневъ нервно, торопливо разрѣзалъ страницы, зная, что онъ воспринимаетъ въ эту минуту огненное крещеніе, и съ замирающимъ отъ восторга сердцемъ прочелъ немногія посвященныя ему строки. Вотъ что между прочимъ писалъ Вѣлинскій:

«Стиль въ поэмѣ обнаруживаетъ необыкновенный поэтический талантъ; а вѣрная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная изъ тайника русской жизни, изысканная и тонкая проза, подъ которою скрывается столько чувства, — все это показываетъ въ авторѣ, кромѣ дара творчества, силу нашего времени, носящаго въ груди своей всѣ скорби и вопросы его. Объ оригинальности мы не говоримъ: она то-же, что талантъ — по крайней мѣрѣ, безъ нея нѣтъ таланта. Многіе найдутъ въ поэмѣ слѣды подражанія Пушкину и особенно Лермонтову: это не удивительно, ибо живая историческая послѣдовательность литературныхъ явленій всегда смѣнивается тождествомъ съ холодной и бездушнкой подражательностью. Но люди мыслящіе понимаютъ, что быть подъ неизбежнымъ вліяніемъ великихъ мастеровъ родной литературы, проявляя въ своихъ произведеніяхъ упорченное имя литературѣ и обществу, и рабски подражать — совсѣмъ не одно и то-же: первое есть доказательство таланта жизненно развивающагося, второе — безталантности.»

Далѣе Вѣлинскій, опредѣляя сущность таланта Тургенева замѣтилъ, что основой его является «*глубокое чувство дѣйствительности*».

Легко понять, какъ такой отзывъ долженъ былъ подѣйствовать на молодого писателя. «Силы его удесятирились». Онъ почувствовалъ, что «любить весь свѣтъ», а больше всего на свѣтѣ — Вѣлинскаго. Онъ тутъ же далъ себѣ клятву «сойтись съ нимъ и сдѣлаться его «другомъ и ученикомъ».

Очень можетъ быть, что въ настоящее время отзывъ Вѣлинскаго о «Наранѣ» покажется слишкомъ восторженнымъ. Если въ *юношеской поэмѣ* и были красивыя мѣста, прелестныя описанія

природы, то были, разумѣется, и существеннѣйшіе недостатки, напр. ненужныя и неудачныя остроты, растянутасть, блѣдность красокъ въ драматическихъ сценахъ, отсутствіе страстности и художественной полноты. Тургеневъ, вообще говоря, развивался очень медленно. Только тридцати лѣтъ онъ сталъ настоящимъ писателемъ и впервые («Хоръ и Калинычъ») проявилъ свой огромный талантъ. Раньше онъ только пробовалъ: сочинялъ стихи и драмы и, гонимый за эффектами, бралъ даже сюжеты изъ испанской жизни («Неосторожность»), комично вставляя въ нихъ русскія либеральныя тенденціи. «Нараша» сыграла громадную роль въ жизни самого Тургенева и ровно никакой въ исторіи русской литературы. Забыть ее можно съ такимъ же правомъ, съ какимъ напр. «Ганса Кюхельганца» Гоголя. Вѣлискій переоцѣнилъ художественныя достоинства поэмы, но онъ угадалъ талантъ, онъ угадалъ новое огромное дарованіе и привѣтствовалъ Нарашу съ такимъ же восторгомъ, какъ «Петербургскіе Углы» Некрасова, «Вѣднхъ людей» Достоевскаго, «Обыкновенную Исторію» Гончарова, — и въ этомъ онъ оказался правымъ. Мы же, имѣя передъ собой «Отцовъ и Дѣтей», смѣло можемъ не останавливаться на «Нарашѣ».

* * *

По одному пункту впрочемъ можно сказать нѣсколько словъ. Я имѣю въ виду и западническую тенденцію разсказа, и западническіе взгляды автора. Что такое западничество? Теперь это не болѣе, какъ одинъ изъ моментовъ, пережитыхъ «бѣдной русской мыслью», одно изъ увлеченій чисто теоретическихъ, очень полезныхъ въ свое время, ненужныхъ въ наши дни. Говоря такъ, я не забываю, что западниками были Вѣлискій, Грановскій, Кавелинъ, но думаю, что западники, вродѣ ихъ, были бы теперь излишнимъ анахронизмомъ. Мы уже имѣемъ больше права критически относиться къ европейской жизни, чѣмъ они, и стоимъ на той точкѣ зрѣнія, къ какой перешелъ въ концѣ Герценъ, съ какой Добролюбовъ смотрѣлъ на Кавура. Это точка зрѣнія—экономическаго реализма прежде всего. Если мы, какъ западники, можемъ хотѣть свободы личности, то мы знаемъ въ то-же время, что въ Европѣ эта свобода далеко не осуществлена, въ доказательство чего можно привести рабочій и женскій вопросы. Но въ 40-ые годы, когда существовало крѣпостничество, когда генералъ посторонняго вѣдомства читалъ на улицахъ цотакія каж-

дому встрѣчному и ноперечному, когда надо было бороться съ ложно величавымъ или попросту барабаннымъ направлѣнiемъ литературы, политики, самой жизни, когда идея русскаго патріотизма смущала лучшіе умы (Аксаковъ, Кирѣевскаго, Хомякова)—быть западникомъ значило быть передовымъ человѣкомъ. Жизненный смыслъ западничества—прежде всего въ его противодѣйствіи славянофильству, въ его *критицизмѣ*. Недостатокъ славянофиловъ—прежде всего въ ихъ самодовольствѣ, въ полнѣйшей невозможности осуществить ихъ стремленія. Славянофилы, требуя уничтоженія крѣпостничества, были правы, велики, мудры. Чѣ же славянофилы, увѣряя, что формы западной культуры вредны для насъ, что русскій народъ призванъ совершить нѣчто особенное и важное, а именно обновить человѣчество, — грѣшили тѣмъ, что породили самохвалство и боязнь мысли.

Западники говорили: европейская культура выше нашей русской; все, что есть хорошаго въ нашей жизни, взято нами у Европы; мы должны твердо держаться пути, указаннаго намъ Петромъ Великимъ. Въ этихъ словахъ заключалась не только вѣрная (отчасти) мысль, но и программа дѣятельности. Подобной программы не было у славянофиловъ, страдавшихъ между прочимъ склонностью къ звучнымъ фразамъ. Они не любили Петербурга и восторгались Москвой; они считали вредной реформу Петра и звали назадъ къ укладамъ русскаго народоправства (вѣче, «соборы» и пр.), какъ будто можно было вернуться туда,—они вѣрили, что въ области духа русскіе скажутъ послѣднее слово и вмѣстѣ съ тѣмъ сами отличались туманностью и неопредѣленностью мысли; они по дѣтски дорожили формой въ одеждѣ, въ языкѣ, въ религіи; они думали, что надѣть сарафанъ или красную кумачную рубаху—значило уже сдѣлать что-то такое важное. Люди даровитые, честные, они однако не завѣщали намъ ничего цѣннаго, и причина этого заключалась въ томъ, что славянофилы сами не знали хорошенько, чего они хотѣли. Припоминаю по этому поводу смѣшной анекдотъ: однажды на балу К. Аксаковъ горячо убѣждалъ какую-то даму бросить парижскія моды и облечься въ сарафанъ. Къ разговаривавшимъ подошелъ московскій генералъ-губернаторъ, при которомъ Аксаковъ продолжалъ и еще съ большимъ увлеченіемъ развивать свои мысли. Одинъ изъ гостей, проходя мимо Чаадаева, по обыкновенію стоявшаго въ сторонѣ и проницески улыбавшагося, спросилъ: «о чемъ это Аксаковъ говорить съ генералъ-губернаторомъ?»—«Не знаю, право,—отвѣчалъ Чаадаевъ,—но кажется,

Константинъ Сергѣевичъ убѣждаетъ генерала снять мундиръ и надѣть вмѣсто него сарафанъ». Si non e vero...

«Казалось,—говорить Анненковъ,—сама исторія, намѣтившая для Россіи два столичныхъ центра, тѣмъ самымъ указала два противоположныхъ пункта, съ которыхъ должны были выскочить все эти споры и исканія общественныхъ основъ и идеаловъ. Все общество распалось на два враждебныхъ лагеря. Одинъ—«москвичи», «славяне» или «славянофилы», съ особеннымъ азартомъ отстаивая сначала все безъ исключенія русское, давая всемъ принятымъ элементамъ, за исключеніемъ византийскаго, самое ничтожное значеніе въ развитіи государства, смотрѣли подчасъ на нихъ, какъ на песчатию, помѣшавшую народу выразить всю свою сущность, доходили при этомъ до крайностей въ идеализаціи этого народа, превознося чрезмѣрно смиреніе, кротость, мудрость; утверждали даже, что земли русская удобрилась для исторіи, не какъ земли западныхъ народовъ, кровью населенія, а только слезами его. Съ этой стороны выдвинулся цѣлый рядъ талантливыхъ вожаковъ мысли, какъ К. Аксаковъ, Кирѣевскій, Хомяковъ, которые съ большимъ умѣньемъ отстаивали свои идеи національности въ тогдашнемъ журналѣ «Москвитининъ». Въ свою очередь, зло и съ большимъ знаніемъ дѣла имъ отвѣчала петербургская партія «западниковъ», органомъ которыхъ съ 1840 года сдѣлался «Отечественныя Записки», гдѣ въ то время начали писать Бѣлинскій, Грановскій. Эти, напротивъ,—вліянію постороннихъ, принятыхъ національностей отводили значительное мѣсто въ образованіи всего московскаго государства, въ опредѣленіи хода всей его исторіи, при этомъ въ своей рѣзкой проповѣди общечеловѣческаго развитія, законъ котораго одинаковъ, какъ они утверждали, для всехъ странъ, доходили иногда до отрицанія всякихъ народныхъ отличій. Живой споръ этотъ положилъ рѣзкую печать раздѣленія на двѣ партіи не только тогдашнюю журналистику, но даже и на все читающее общество. Нужно было видѣть тотъ восторгъ, то яркое пробужденіе общества, когда въ 1843 году молодой и талантливый историкъ Грановскій выступилъ со своими замѣчательными публичными лекціями.

«Я еще засталъ,—продолжаетъ Н. В. Анненковъ,—ученое и, такъ сказать, междусословное торжество, происходившее въ Москвѣ по случаю первыхъ публичныхъ лекцій Грановскаго, собравшаго около себя не только людей науки, все литературныя партіи и обычныхъ восторженныхъ своихъ слушателей—молодежь университета; но и весь образованный классъ города—отъ стариковъ, только что покинувшихъ лѣмберные столы, до дѣвицы, еще не отдохнувшихъ послѣ подвиговъ на паркетѣ и отъ губернскихъ чиновниковъ до неслужащихъ дворянъ... Большинство слушателей понимало его хорошо, такъ понимало оно и лекцію о Карлѣ Великомъ, на которую я и пошелъ... Когда, въ заключеніе своихъ лекцій, профессоръ обратился прямо отъ себя къ публикѣ, напоминая ей, какой необъятный долгъ благодарности лежитъ на насъ по отношенію къ Европѣ, отъ которой мы даромъ получили блага цивилизаціи и человѣческаго существованія, доставшіяся ей путемъ кровавыхъ трудовъ и горькихъ опытовъ,—

голосъ его покрылся взрывомъ рукошлесканій, раздавшимся во всѣхъ концахъ аудиторіи.»

Разумѣется, что не разъ дѣлавшіяся попытки примирить западниковъ и славянофиловъ не приводили ни къ чему. Славянофильство—ученіе сердца, подчасъ по-маниловски настроеннаго (напр. у Загоскина), не шло ни на какія соглашенія; оно повидимому отвѣчало потребности русскаго человѣка восторгаться хотя-бы такою смутною вещью, какъ русская подоплёка или старорусское народоправство. Теперь славянофильство окончательно выдохлось и никогда не залечитъ ударовъ, нанесенныхъ ему Вѣлинскимъ, Герценомъ, Тургеневымъ и особенно Вл. Соловьевымъ («Національный Вопросъ» 2 т.). Но выдохлось и западничество, ибо основа его была чисто теоретическая, отвлеченная. Европейская культура выше нашей, но основного зла европейской культуры, экономического неравенства и борьбы классовъ чистые западники, какъ напр. Тургеневъ и Грановскій, видѣть не хотѣли. Свобода науки и изслѣдованія, вѣротерпимость, свобода слова и мысли были въ ихъ глазахъ настолько цѣнными благами, что въ стремленіи къ нимъ они полагали смыслъ гражданской дѣятельности каждаго образованнаго человѣка.

Самымъ цѣннымъ элементомъ западничества является его критицизмъ, вытекавшій изъ сопоставленія русскихъ формъ жизни съ европейскими, и практичность. Западникъ знаетъ, что ему дѣлать и какъ ему дѣлать. Жизнь на его сторонѣ, и каждый день—хотимъ ли мы этого, или не хотимъ—наша культура сближается съ европейской. Это то и заставляетъ оставить симпатичную и высокую идею русскаго мессіанизма, такъ какъ до сей поры держится въ тайнѣ, въ чемъ сущность этого мессіанизма и когда для него наступитъ время.

Отвращеніе къ крѣпостничеству, поѣздка за-границу, дружба съ Грановскимъ и Станкевичемъ, любовь къ европейской литературѣ сдѣлали Тургенева западникомъ. Вліяніе Вѣлинскаго могущественно дѣйствовало въ томъ же направленіи. Я перехожу теперь къ этому вліянію и замѣчу предварительно, что близость къ Вѣлинскому—самое поэтичное и лучшее, что было въ его жизни.

* * *

«Возвратившись въ Петербургъ изъ Спасскаго (лѣтомъ 43 г.),— пишетъ Тургеневъ,—я отправлялся къ Вѣлинскому, и знакомство

наше началось. Онъ вскорѣ уѣхалъ въ Москву—жениться и потомъ поселился на дачѣ въ Лѣсномъ. Я также нанялъ дачу въ первомъ Парголовѣ и до самой осени почти каждый день посѣщалъ Вѣлинскаго. Я полюбилъ его искренне и глубоко; онъ благоволилъ ко мнѣ...

«Когда я познакомился съ нимъ, его мучили сомнѣнія. Эту фразу я часто слышалъ и самъ примѣнял ее не однажды, но дѣйствительно и исполнѣ она примѣнилась къ одному Вѣлинскому. Сомнѣнія его именно мучали его, лишали его сна, пищи, неостановительно жгли и грызли его; онъ не позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ денно и нощно бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себѣ. Бывало, какъ только я приду къ нему,—онъ, исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось тогда воспаление въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ вставалъ съ дивана и едва слышимымъ голосомъ, безпрестанно кашляя, съ пульсомъ, бывшимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начинаетъ прерванную наканунѣ бесѣду. Искренность его дѣйствовала на меня, его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два, гри, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое, мнѣ хотѣлось отдохнуть, я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ, сама жена Вѣлинскаго умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... но съ Вѣлинскимъ сладить было не легко. — «Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога, — сказала онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ, — а вы хотите ѣсть!»...

Сознаюсь,—продолжаетъ Тургеневъ,—что, написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ нѣкихъ изъ моихъ читателей... Но не пришлось въ голову смѣяться тому, кто самъ бы слышалъ, какъ Вѣлинскій произнесъ эти слова, и если при воспоминаніи объ этой небоязни смѣшного улыбка можетъ придти на уста, то развѣ улыбка умиленія и удивленія.

«Лишь добившись удовлетворившаго его въ то время результата, Вѣлинскій успокоился и, отложивъ размышленія о тѣхъ капитальныхъ вопросахъ, возвратился къ ежедневнымъ трудамъ и занятіямъ. Со мною онъ говорилъ особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ Берлина, гдѣ втеченіи двухъ семестровъ занимался гегелевскою философіей и былъ въ состояніи передать ему самыя свѣжіе, послѣдніе выводы.»

Лѣто 43 г. закрѣпило дружескія отношенія, конецъ которымъ былъ положенъ лишь смертью Вѣлинскаго. Несомнѣнно, что онъ имѣлъ на Тургенева большое нравственное вліяніе, все равно какъ и на другихъ членовъ своего кружка, — Некрасова напрымѣрь. Напомню, что сказалъ однажды послѣдній: «заняться своимъ образованіемъ у меня не было времени, надо было думать о томъ, чтобы не умереть съ голоду. Я попалъ въ такой литературный кружокъ, въ которомъ скорѣе можно было отупѣть, чѣмъ развиться. Моя встрѣча съ Вѣлинскимъ была для меня спасеніемъ... Что-бы ему пожить подольше!.. Я бы былъ не тѣмъ человекомъ, какимъ теперь»... Спасать Тургенева было не отъ чего, но такіе люди, какъ Вѣлинскій, закрѣпляютъ правду въ сердцахъ всѣхъ, кто сходится съ ними. Любопытно между прочимъ, что къ Тургеневу Вѣлинскій относился поотечески и зачастую журнулъ его за барскія замашки, за юношескую хвастливость, подчасъ и за фразерство. Передамъ нѣсколько эпизодовъ. Однажды напр. Тургеневъ занялъ денегъ у Некрасова и долго не отдавалъ, такъ какъ самъ сидѣлъ безъ гроша. Объ этомъ рассказали Вѣлинскому. Онъ, придя къ Панаевымъ, какъ нарочно встрѣтилъ тамъ Тургенева, собиравшагося идти обѣдать къ Дюссо. Вѣлинскій зналъ, что обыкновенно по четвергамъ въ этотъ модный ресторанъ сходилось много аристократической молодежи обѣдать, и накупился на Тургенева: «Къ чему вы разыгрываете барина? Гораздо проще было бы взять деньги за свою работу, чѣмъ, сдѣлавъ одолженіе человеку, обращаться сейчасъ-же къ нему съ займами денегъ. Понятно, что Некрасову неловко вамъ отказывать, и онъ самъ принимаетъ для васъ деньги, платя жидовскіе проценты. Добро-бы вамъ нужны были деньги на что нибудь путное, а то пошкарить у Дюссо»... и пошелъ, и пошелъ. «Тургеневъ очень походилъ на провинившагося школьника и возразилъ: «Да вѣдь не преступленіе я сдѣлалъ; я вѣдь отдамъ Некрасову эти деньги... Просто необдуманно поступилъ». «Такъ впередъ обдумывайте хорошенько, что дѣлаете; я для этого и говорю вамъ такъ рѣзко, чтобы вы позорче слѣдили за собой». Такіе нагоняи Тургеневу приходилось получать нерѣдко. «Разносилъ» его Вѣлинскій также за лѣнь и неаккуратность.

«Въ 1848 г. — рассказываетъ Головачева въ воспоминаніяхъ — Тургеневъ, вернувшись поздней осенью изъ деревни, шумно выражалъ свою радость по поводу задуманнаго изданія «Современника». Вѣлинскій ему замѣтилъ:

— *Вы не словами высказывайте свое участіе, а на дѣлѣ.*

— Даю вамъ честное слово, что я буду самымъ ревностнымъ сотрудникомъ будущаго «Современника».

— Не такое ли дасте слово, какое вы мнѣ дали, уѣзжая въ деревню, что, возвратясь, вручите мнѣ вашъ разсказъ для моего «Альманаха»?—спросилъ проницескимъ тономъ Вѣлинскій.

— Онъ у меня написанъ для васъ, только надо его обдѣлать...

— Лучшее ужъ прямо бы сознался, что онъ не оконченъ, чѣмъ вилить.

— Клянусь вамъ, что осталось работы не болѣе, какъ на недѣлю.

— Знаю я васъ, пойдете шляться по свѣтскимъ салончикамъ. Кажется, не мало времени сидѣли въ деревнѣ и то не могли окончить.

Тургеневъ клялся, что съ завтрашняго утра засидѣть за работою и пока не окончитъ, самъ никуда не выйдетъ и къ себѣ никого не приметъ. Вѣлинскій на это отвѣтилъ:

— Вѣсь вы одного поля ягоды, на словахъ любите разводить бобы, а чуть коснулось дѣла, такъ не шевельнуть и пальцемъ... да и я-то хорошъ гусь, кажется, не первый день васъ всѣхъ знаю, а имѣлъ глупость разсчитывать на ваше обѣщаніе... Ну, смотрите, Тургеневъ, если вы не сдержите своего обѣщанія, что все вами написанное будетъ исключительно помѣщено въ «Современникѣ», то такъ и знайте,—я вамъ руки не подамъ, не пущу на порогъ своего дома!

Вѣсь присутствующіе улыбались на угрозы Вѣлинскаго.

Разумѣется, на нагоняи, получаемые отъ Вѣлинскаго, никто никогда не обижался, хотя порою онъ пробиралъ довольно сердито. Разъ онъ жестоко набросился на Тургенева когда узналъ, что тотъ въ «великосвѣтскихъ салончикахъ» увѣряетъ «дамъ и кавалеровъ», будто-бы не беретъ литературнаго гонорара и помѣщаетъ свои произведенія даромъ. «Да какъ вы рѣшились сказать такую пошлость, вы—Тургеневъ!.. Да развѣ это постыдно брать деньги за собственный трудъ? Или по вашимъ понятіямъ только тушеядецъ можетъ быть порядочнымъ человѣкомъ?» — водновался Вѣлинскій, нагоняя на лицо умнаго русскаго барича краску стыда и раскаянія.

Да, великимъ было счастьемъ имѣть возлѣ себя такого чистаго, дѣтски правдиваго человѣка, какъ Вѣлинскій, этого героя труда, этого образца искренности и благородства. И это великое счастье полностью выпало на долю Тургенева. И думается, что онъ нуждался въ немъ, что, не встрѣтись онъ съ Вѣлинскимъ, не совѣмъ то-бы вышло изъ него, что вышло въ дѣйствительности. Среди недостатковъ юноши-Тургенева приходится отмѣтить одинъ, самъ по себѣ невинный, но такой, изъ котораго могутъ произойти крупнѣйшіе нравственные недочеты. Этотъ недостатокъ — всероссійская халатность, обломовщина, отсутствіе стойкости

Честнѣйшимъ и милѣйшимъ человѣкомъ былъ напр. Илья Ильичъ, а что значило ему прямо по распущенности натворить сколько угодно бѣдъ и крупныхъ, и малыхъ? Взять въ долгъ денегъ и не заплатить въ срокъ, не отвѣтить во-время на нужное письмо, хотя-бы отъ этого отвѣта зависѣло очень многое, обѣщать что нибудь и не исполнить обѣщаннаго, разорить себя и чужихъ хотя-бы отъ излишняго добродушія—все это совѣмъ по русски—по барски. И такая-же черта халатности, не достаточно строгаго отношенія къ себѣ была очень глубоко заложена въ Тургеневѣ. Пригласить къ себѣ въ гости на обѣдъ, на дачу, а самому уйти и ухаживать за поповкой, забывъ о гостяхъ, обѣщать рассказъ въ «Современникъ» и забрать авансъ Краевского, не представить рукописи во-время—все это, разумѣется, мелочь, пустякъ, но такая мелочь, такой пустякъ, отъ которыхъ въ послѣдствіи самъ Тургеневъ настойчиво предостерегалъ юношество. И несомнѣнно онъ былъ правъ: вѣдь Вѣлискій или Добролюбовъ никогда не позволили себѣ даже малѣйшаго проявленія распущенности, прекрасно понимая, что вещь, сама по себѣ невинная и даже милая и привлекательная по формѣ, грозитъ большими неудобствами въ нормальной жизни.

Изъ разговоровъ Тургенева съ Вѣлинскимъ сохранились только отрывки; на нѣкоторыхъ изъ нихъ необходимо остановиться.

«Вѣлинскій—пишетъ Тургеневъ—не былъ поклонникомъ принципа «искусство для искусства»—да оно и не могло быть иначе по всему складу его мыслей. Помню я, съ какой комической яростью онъ однажды при мнѣ напалъ на Пушкина за его два стиха «Поэтъ и Чернь»:

Печной горшокъ тебѣ дороже,
Ты пишу въ немъ събѣ варишь.

— И конечно,—твердилъ Вѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ:—конечно дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пищу варю и—прежде чѣмъ любоваться красотой истукана—будь онъ распресидіасовскій Аполлонъ,—мое право, моя обязанность накормить себя и своихъ, на зло всякимъ негодующимъ баричамъ и виршеплетамъ!»...

«Я—продолжаетъ Тургеневъ—часто ходилъ къ нему послѣ обѣда отводить душу. Онъ занималъ квартиру въ нижнемъ этажѣ, по Фонтанкѣ, недалеко отъ Анничковскаго моста,—невеселая, до-

вольно сырыя комнаты. Не могу не повторить: тяжелыя тогда стояли времена; нынѣшнимъ молодымъ людямъ не приходилось испытать ничего подобнаго. Пусть читатель самъ посудитъ: утромъ быть можетъ возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; можетъ быть даже тебѣ пришлось съѣздить къ цензору и, представивъ напрасныя унижительныя оправданія, объясненія, выслушать его безапелляціонный, часто насмѣшливый приговоръ... Вростишь вокругъ себя мысленный взоръ: взяточничество процвѣтаетъ, крѣпостное право стоитъ какъ скала, казарма на первомъ планѣ... Ну, вотъ и придешь на квартиру Вѣлинскаго, придетъ другой, третій пріятель, затѣется разговоръ и легче станетъ; предметы разговоровъ были большей частью нецензурнаго въ тогдашнемъ смыслѣ слова свойства, но собственно политическихъ преній не происходило: бесполезность ихъ слишкомъ явно была въ глаза каждому. Общій колоритъ нашихъ бесѣдъ былъ философски-литературный, критически-эстетическій и пожалуй социальный, рѣдко историческій. Иногда выходило очень интересно, даже сильно; иногда нѣсколько поверхностно и даже легковѣсно.

«Какъ во всѣхъ людяхъ съ нилкой душой, во всѣхъ энтузіастахъ, въ Вѣлинскомъ была большая доля нетерпимости. Онъ не признавалъ, особенно сгоряча, ни одной частицы правды во мнѣніяхъ противника и отворачивался отъ нихъ съ тѣмъ-же негодованіемъ, съ которымъ покидалъ собственныя мнѣнія, когда находилъ ихъ ошибочными. Но его можно было «прошнбить», какъ я сказалъ ему однажды и чему онъ много смѣялся,—истина была для него слишкомъ дорога; онъ не могъ окончательно упорствовать. Къ одной лишь московской партіи, къ славянофиламъ, онъ всю жизнь относился враждебно... Въ собственныхъ промахахъ Вѣлинскій признавался безъ всякой задней мысли: мелкаго самолюбія въ немъ и слѣда не было.—«Ну, вралъ же я чушь!» бывало говаривалъ онъ съ улыбкой—и какая эта въ немъ была хорошая черта!.. Ничего не было для него важнѣе и выше дѣла, за какое онъ стоялъ, мысль, которую онъ защищалъ и проводилъ: тутъ онъ на стѣну готовъ былъ лѣзть, и бѣда тому, кто ему попадался подъ руку! Тутъ и смѣлость являлась въ немъ—отвага отчаянная, на зло его физикѣ и нервамъ; тутъ онъ всѣмъ готовъ былъ жертвовать! При такой сильной раздражительности,—такая слабая, личная обидчивость... Нѣтъ! подобнаго ему человека я не встрѣчалъ ни прежде, ни послѣ!»...

Лѣтомъ 1847 г. Вѣлинскій попалъ въ первый и послѣдній разъ за границу. Тургеневъ встрѣтилъ его въ Штеттинѣ и прожилъ съ нимъ нѣсколько недѣль въ Зальцбруннѣ, маленькомъ сплзскомъ городкѣ, славившемся своими водами, будто-бы излечивающими отъ чахотки. Потомъ друзья въ послѣдній разъ увидѣлись въ Парижѣ, когда Вѣлинскому оставалось жить всего нѣсколько мѣсяцевъ, когда онъ уже усталъ и охладѣлъ ко всему.

Для Тургенева образъ Вѣлинскаго навсегда остался въ сердцѣ путеводной звѣздой. «И вотъ уже двадцать лѣтъ слишкомъ прошло со смерти Вѣлинскаго,—читаемъ мы въ литературныхъ воспоминаніяхъ, написанныхъ въ 1868 г.,—и я вызвалъ его дорогую тѣнь. Не знаю, насколько мнѣ удалось передать читателямъ главныя черты его образа, но я уже доволенъ тѣмъ, что онъ побылъ со мною въ моемъ воспоминаніи... «Человѣкъ онъ былъ!..»

Внѣшняя сторона жизни Тургенева за время сороковыхъ годовъ можетъ быть рассказана въ немногихъ словахъ. Четыре зимы (1843—1846) онъ пробылъ въ Петербургѣ, а въ 1846 году опять уѣхалъ за-границу. Онъ пробовалъ служить, но неудачно, и скоро вышелъ въ отставку. Тогда-же случилась его первая серьезная размолвка съ матерью, причина которой намъ неизвѣстна. Излагаютъ впрочемъ исторію этой ссоры такъ: однажды Тургеневъ пріѣхалъ въ Спасское. Не зная, чѣмъ ему угодить, Варвара Петровна устроила ему особенно-торжественную встрѣчу, велѣла всѣмъ дворовымъ мужчинамъ и женщинамъ выстроиться въ рядъ по подъѣздной аллеѣ и какъ только баринъ покажется, о чемъ должны были извѣстить разставленные впереди верховые,—привѣтствовать его «громко и радостно». Тургеневъ разсердился и немедленно, повернувъ лошадей, вернулся въ Петербургъ. Этого Варвара Петровна не могла простить ему вплоть до самой смерти и умерла непримиренная съ сыномъ. Какъ бы то ни было, благодаря ссорѣ, Тургеневъ остался лишь при своемъ литературномъ заработкѣ и сильно нуждался, такъ что и обѣдать ему приходилось не каждый день. Въ Берлинѣ онъ отправился главнымъ образомъ потому, что тамъ въ это время находилась знаменитая нѣкогда пѣвица Виадо Гарсія, которую Тургеневъ видѣлъ ранѣе въ Петербургѣ, сразу полюбилъ и уже на всю жизнь.

Время, когда мы могли бы совершенно свободно разбирать

отношенія Тургенева къ Віардо, еще не пришло. Ограничусь поэтому немногими достовѣрными фактами.

« — Я помню, — рассказываетъ Головачева, — разъ, вечеромъ, Тургеневъ явился къ намъ въ какомъ-то экстазѣ.

— Господа, я такъ счастливъ сегодня, что не можетъ быть другого на свѣтѣ счастливѣе меня человѣка! — говорилъ онъ.

Приходъ Тургенева остановилъ игру въ преферансъ, за которымъ сидѣли Бѣлинскій, Боткинъ и другіе. Боткинъ сталъ приставать къ Тургеневу, чтобы онъ поскорѣе разскажалъ о своемъ счастьѣ, да и другіе очень заинтересовались. Оказалось, что у Тургенева очень болѣла голова и сама Віардо потеряла ему виски одеколономъ. Бѣлинскій не любилъ, когда прерывали его игру, бросать сердитые взгляды на оратора и его слушателей и наконецъ воскликнулъ нетерпѣливо:

— Хотите, господа, продолжать игру, или смѣнать карты?

Игру стали продолжать, а Тургеневъ, рассказывая по комnatѣ, продолжалъ еще говорить о своемъ счастьѣ. Бѣлинскій поставилъ ремизъ и съ сердцемъ сказалъ Тургеневу:

— Ну, можно ли вѣрить въ такую трескучую любовь, какъ ваша?»

Бѣлинскій однако ошибся, любовь Тургенева оказалась не трескучей, а преданной и покорной, любовью на всю жизнь. Віардо отлично пѣла и играла, но была далеко не красавица; особенно непріятно поражалъ ея огромный ротъ. Имѣя европейскую извѣстность, она держала себя гордо и недоступно. Щедрости не было въ числѣ ея добродѣтелей, скорѣе наоборотъ. Проведя большую часть жизни въ Парижѣ и при различныхъ дворахъ, окруженная избраннымъ обществомъ и безумною роскошью, она, несмотря на невысокое происхожденіе, усвоила себѣ лоскъ свѣтской грандъ-дамы, что было далеко не безразлично въ глазахъ Н. С. Тургенева. Разумѣется, первое время онъ только вздыхалъ и восторгался, но потомъ Віардо приблизила его къ себѣ, и онъ всю вторую половину жизни провелъ подъ одной кровлей съ ея семьей или гдѣ-нибудь рядомъ. Въ 46-омъ году онъ при первой-же возможности помчался за ней въ Германію.

Пичъ (Pitsch) часто встрѣчался съ Тургеневымъ въ Берлинѣ въ 40 гг. и подробно разскажалъ намъ о своемъ знакомствѣ съ нимъ. Между прочимъ интересно описаніе наружности Тургенева: «Тогда его волосы, посѣдѣвшіе съ 1868 года, были еще темнорусыми и, вмѣсто полной бороды, только короткіе русые усы отгнѣили его верхнюю губу. Головой и ростомъ онъ напоминалъ намъ Петра Великаго въ молодости, хотя онъ и не имѣлъ ничего общаго съ полудикой и необузданной натурой великаго

преобразователя Россіи. Эти массивныя голова и тѣло вмѣщали въ себѣ утонченный умъ, добрую и мягкую, гуманную душу. Это былъ человѣкъ, не сдѣлавшій никому ни малѣйшаго вреда, кромѣ развѣ животныхъ, убитыхъ имъ на охотѣ, такъ какъ онъ всю свою жизнь былъ страстнымъ и неутомимымъ охотникомъ.

«Ни у кого, кромѣ Тургенева, — продолжаетъ Ничъ, — мы не встрѣчали такой утонченности чувствъ, такого оригинальнаго умѣнья все видѣть и подобнаго искусства все видѣнное и пережитое представить слушателю вполне наглядно, съ живостью и мѣткой опредѣлительностью, со всѣми подробностями и со всею привлекательностью и очарованіемъ поэтическаго изображенія, при всей сжатости разсказа. Самые талантливые поэты и художники, члены этого кружка, какъ всѣ идеалисты того времени, склонные къ умозрительности, не обладали такимъ врожденнымъ пониманіемъ природы и умѣньемъ схватывать дѣйствительность, что впрочемъ вполне объясняется абстрактностью нашего воспитанія. Тѣмъ сильнѣе и новѣе было впечатлѣніе бесѣды Тургенева.»

Ничъ отмѣчаетъ еще въ Тургеневѣ черту поразившей его скромности:

«Удивительнѣе всего, — говоритъ онъ, — что Тургеневъ, противъ обыкновенія всѣхъ поэтовъ, ни однимъ словомъ не обмолвился тогда о томъ, что въ его отечествѣ онъ уже былъ пзвѣстенъ за выдающагося писателя. Очень часто, подъ впечатлѣніемъ его художественнаго разсказа и всего его существа, я говорилъ ему: «Вы — истинный поэтъ! вы — великій, единственный въ мірѣ разсказчикъ! вашъ народъ и весь свѣтъ узнаютъ васъ и будутъ удивляться вамъ». Улыбаясь, онъ отклонялъ эти похвалы и увѣрялъ, — о, лицемеръ! — что въ немъ нѣтъ ничего поэческаго. Разсказы Тургенева отличались «глубокимъ уныніемъ». «Его тяготило грустное положеніе родины, особенно торжествующее крѣпостничество, къ которому онъ возвращался то и дѣло съ ненавистью и отвращеніемъ». Любопытенъ между прочимъ эпизодъ о бабушкѣ Тургенева, переданный имъ самимъ Ничу. Вотъ что разсказывалъ Тургеневъ:

«Старая, вепильчивая барыня, пораженная параличемъ и почти неподвижно сидѣвшая въ креслѣ, разсердившись однажды на казачка, который ей услуживалъ, за какой-то недосмотръ, въ порывѣ гнѣва, схватила полѣно и ударила мальчика по головѣ такъ сильно, что онъ упалъ безъ чувствъ. Это зрѣлище произвело на нее не-
пріятное впечатлѣніе; она нагнулась и приподняла его на свое ни-

рокое кресло, положила ему большую подушку на окровавленную голову,—я теперь еще помню то неподдѣльное выраженіе, которое Тургеневъ употребилъ при этомъ разсказѣ—и, *спавши на него, задумала его*.—Само собою разумѣется, эта величественная барыня ничѣмъ за это не поплатилась.»

Вольше о пребываніи Тургенева въ Берлинѣ мы не знаемъ ничего. Въ заключеніи этой главы—нѣсколько словъ о его литературной дѣятельности въ разсматриваемый періодъ. Ничѣ, увѣряя, что въ 46 г. Тургеневъ былъ уже признаннымъ русскимъ писателемъ и даже «выдающимся», очевидно преувеличиваетъ дѣло. Раньше 52 г., т. е. до выхода въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ «Записокъ Охотника», Тургеневъ не зналъ не только славы, а даже извѣстности. Виновать былъ впрочемъ онъ самъ. Онъ писалъ стихи, по поводу которыхъ самъ впоследствии сказалъ слѣдующія неоспоримыя слова: «я чувствую положительную, чуть не форменную антипатію къ моимъ стихотвореніямъ—и не только не имѣю ни одного экземпляра моихъ поэмъ, но дорогобы далъ, чтобы ихъ вообще не существовало на свѣтѣ». Онъ писалъ драмы и комедіи, но, кромѣ трехъ изъ нихъ: «Мѣсяцъ въ деревнѣ», «Провинціалка» и «Холостякъ», ни одна не можетъ остановить на себѣ вниманіе читателя.

Приходится просто удивляться, что изъ подъ пера Тургенева вышла такая слабая вещь, какъ «Неосторожность» (драма изъ испанскихъ нравовъ, какъ выразился справедливо одинъ изъ критиковъ)—или «Везденежье»! Нашелъ себя Тургеневъ только въ «Запискахъ Охотника», но странная судьба постигла эту поистинѣ чудную вещь! Что «Записки Охотника» несятъ на себѣ печать генія—это несомнѣнно; однако Вѣлинскій, чувствуя предсмертную усталость, отнесся къ нимъ холодно, и первая, настоящая критика принадлежитъ—какъ это ни странно,—не Вѣлинскому, а Апененскому.

Впрочемъ и Апененскій не сумѣлъ оцѣнить полностью содержанія «Записокъ». Имъ напр. совершенно не указана публицистическая (за которую, кстати сказать, Тургеневъ отсидѣлъ два мѣсяца въ кутузкѣ,—слѣд. Бенкендорфъ видѣлъ, а критики не видѣли) сторона разсказовъ, именно рѣзкій и искренній протестъ противъ крѣпостного права! «Записки Охотника»—популярнѣйшее въ настоящее время произведеніе Тургенева, нѣчто «вѣчное», какъ говорили въ 30-хъ годахъ,—были оцѣнены не критикой, а публикой, которая раскупала на расхватъ два дорогіе тома. Публика поняла, въ чемъ тутъ дѣло, поняла, что

небо послало ей новый, огромный художественный талантъ, и мало того: талантъ съ сердцемъ, искренне любящимъ, искренне ненавидящимъ. Она пошла за этимъ талантомъ, возвела его въ 50-хъ годахъ на степень кумира и полубога и не обманулась. Она пзмѣнила Тургеневу лишь постѣ появленія «Отцовъ и Дѣтей», но эта пзмѣна была лишь временной и, какъ скоро увидимъ, болѣе чѣмъ несправедливой.

«Записки Охотника» были необходимымъ дополненіемъ къ мрачной шуткѣ Гоголя—«Мертвымъ Душамъ», читая которыя, лишь вскользь видишь, что дѣлалъ крѣпостные Манилова, Поздрева, Пѣтуха, Собакевича, Плюшкина. Въ сравненіи съ «Записк. Охотн.» «Мертвыя Души»—идиллія, такъ какъ, изучая послѣднія, чувствуешь, что все-же «мужички живутъ по маленьку». Впрочемъ не мужичками и интересовался Гоголь.

Въ исторіи развитія нашихъ народолюбческихъ и демократическихъ идей «Записки Охотн.» сыграли огромную и плодотворную роль,—неменьшую, по нашему мнѣнію, чѣмъ прославленная повѣсть Д. В. Григоровича—«Антонъ Горемыка».

III.

Пятидесятые годы.—Кружокъ Эпикурейцевъ.

Я выделяю 50-ые года въ отдѣльную главу, такъ какъ это десятилѣтіе имѣло особенное значеніе въ жизни и дѣятельности Тургенева. Замѣтимъ прежде всего, что за этотъ промежутокъ времени появились: «Рудинъ», «Фаустъ», «Дворянское Гнѣздо», «Наканунъ» и были написаны «Отцы и Дѣти». Слава Тургенева, подъ которую былъ заложенъ такой несокрушимый фундаментъ, какъ два тома «Записокъ Охотника», продолжала наростать и къ концу разсматриваемаго періода достигла размѣровъ, до той поры невиданныхъ. Даже Гоголя знали только въ Россіи, Тургенева перваго изъ русскихъ поэтовъ стали читать и за границей. Между прочимъ позволю себѣ отмѣтить любопытное хронологическое совпаденіе: «Записки Охотника» появились въ годъ смерти Гоголя, и авторъ «Ревизора» какъ-бы передалъ свое первое мѣсто въ литературѣ автору «Муму», «Одюдворца Овсянникова», «Рудина» и «Фауста».

Съ отношеній Тургенева и Гоголя мы и начнемъ нашъ рассказъ. Сначала впрочемъ упомянемъ объ одномъ важномъ эпизодѣ. Въ 1850 г. умерла В. П. Тургенева и оставила въ наслѣдство сыну громадную, прекрасно устроенную имѣнію. Онъ внезапно сталъ богачемъ, человѣкомъ безусловно свободнымъ и безусловно независимымъ. Что-же сдѣлалъ онъ для своихъ крестьянъ? Вотъ его собственныя слова: «я немедленно отпустилъ дворовыхъ на волю, пожелавшихъ крестьянъ перевелъ на оброкъ, всячески содѣйствовалъ успѣху общаго освобожденія, при выкупѣ вездѣ уступилъ пятую часть—и въ главномъ имѣніи не взялъ ничего за усадьбную землю, что составляло крупную сумму. Другой, быть можетъ, на моемъ мѣстѣ сдѣлалъ-бы больше и скорѣе, но я обѣщался сказать правду и говорю ее, какова она ни на есть. Хвастаться ею нечего; но и безсестія, я полагаю, она принести мнѣ не можетъ».

Теперь объ отношеніяхъ къ Гоголю. Мы уже говорили о первой ихъ встрѣчѣ въ аудиторіи Петербургскаго университета; отъ первой встрѣчи до второй (1851 г.) прошло слишкомъ 15 лѣтъ. «Меня—пишетъ Тургеневъ—свелъ къ Гоголю покойный Михаилъ Семеновичъ Щенкинъ. Я не готовился ни къ какой бесѣдѣ, а просто жаждалъ видѣться съ человѣкомъ, творенія котораго я чуть не зналъ наизусть. Пылившія молодымъ людямъ даже трудно растолковать обаяніе, окружавшее тогда его имя; теперь же и нѣтъ никого, на комъ могло-бы сосредоточиться общее вниманіе». Гоголь въ свою очередь очень симпатично отнесся къ молодому литератору, хвалилъ его рассказы и какъ-то разъ замѣтилъ даже, что «теперь стоитъ читать только одного Тургенева». Гоголь весело встрѣтилъ гостей и проговорилъ: «намъ давно слѣдовало быть знакомыми». Не смотря на веселый тонъ, видъ его поразилъ Тургенева. Онъ казался худымъ и испитымъ человѣкомъ, котораго успѣла уже порядкомъ измывать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное безпокойство примѣшивались къ постоянно пронизательному выраженію лица. «Какое ты умное, странное и больное существо», невольно думалось, глядя на него. «Помини, — продолжаетъ Тургеневъ, — мы съ Щенкинымъ ѣхали къ Гоголю, какъ къ необыкновенному, гениальному человѣку, у котораго что-то тронулось въ головѣ: вся Москва была о немъ такого мнѣнія. Михаилъ Семеновичъ предупредилъ меня, что съ нимъ не слѣдуетъ говорить о продолженіи «Мертвыхъ Душъ», — объ этой второй части, надъ ко-

торую онъ такъ долго и упорно трудился и которую онъ, какъ извѣстно, сжегъ передъ смертью». При встрѣчѣ Гоголь, противъ обыкновенія, оказался очень словоохотливымъ. Онъ много и прекрасно говорилъ о литературѣ, о призваніи писателя. Только когда онъ завелъ рѣчь о цензурѣ, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее, какъ средство развивать въ писателѣ сноровку, умѣнье защищать свое дѣтище, терпѣніе и множество другихъ христіанскихъ и свѣтскихъ добродѣтелей, Тургеневъ увидѣлъ передъ собой автора знаменитой «Переписки». Разговоръ по инициативѣ самого Гоголя перешелъ на эту послѣднюю. Гоголь оправдывался какъ-то «безпокойно, смущенно и торопливо», увѣряя, что никогда не былъ въ оппозиціи, что и въ юности держался тѣхъ же мыслей, и въ доказательство приводилъ выдержки изъ «Арабесокъ»!... Въ самый разгаръ бесѣды «какая-то старая барыня пріѣхала къ Гоголю и привезла ему просфору съ вышutoй частицей». Визитъ на этомъ и закончился.

Вскорѣ послѣ этого, въ февралѣ 1852 г., Гоголь умеръ. Тургеневъ написал некрологъ, но петербургская цензура запретила печатать его, и онъ появился въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Это обстоятельство стоило Тургеневу порядочныхъ непріятностей. «16-го апрѣля,—разсказываетъ онъ,—я за ослушаніе и нарушеніе цензурныхъ правилъ (хотя, замѣтимъ, некрологъ былъ разсмотрѣнъ и пропущенъ попечителемъ московскаго округа Назимовымъ,—тѣмъ самымъ, который требовалъ, чтобы книги въ библіотекахъ разставлялись «по росту») былъ посаженъ на мѣсяць подъ арестъ въ часть. Первые 24 часа я провелъ въ сибиркѣ и бесѣдовалъ съ изысканно вѣжливымъ и образованнымъ полицейскимъ унтеръ-офицеромъ, который разсказывалъ мнѣ о своей прогулкѣ въ Лѣтнемъ саду и объ «араматѣ птицъ». Потомъ меня отравили на жительство въ деревню».

Подоплѣска этой исторіи довольно интересна. Статья о Гоголѣ, написанная приподнятымъ и риторическимъ языкомъ, послужила скорѣе поводомъ, чѣмъ причиной ареста и высылки Тургенева. Истинная причина заключалась въ томъ, что жандармское управленіе не могло простить автору «Записокъ Охотника» духа его разсказовъ, который она учила лучше даже чѣмъ критика. Знакомство съ Вѣлискимъ, частыя поѣздки за-границу, рассказы о крѣпостныхъ—все это дѣлало Тургенева человекомъ подозрительнымъ или, какъ выразился изысканно вѣжливый полицейскій

унтеръ, «невѣроятнымъ». Но и въ самой статьѣ было кое что, что могло не понравиться наверху, именно ея восторженность.

«Въ то время, — говоритъ Головачева, — строго смотрѣли, чтобы литераторамъ не оказывали особенныхъ почестей. Тургеневъ былъ въ отчаяніи, когда запретили его статейку, и говорилъ Некрасову и Панаеву, что пошлетъ ее въ Москву.»

«Панаевъ не совѣтывалъ ему этого дѣлать, потому что и такъ Тургеневъ былъ на замѣчаніи вслѣдствіе того, что послѣ трауръ по Гоголю и, дѣлая визиты своимъ свѣтскимъ знакомымъ, слишкомъ либерально осуждалъ петербургское общество въ равнодушій къ такой потерѣ, какъ Гоголь, и читалъ свою статейку, которую носилъ съ собой всюду. Эта статейка была уже перечеркнута красными чернилами цензоровъ. Когда Панаевъ упрощалъ Тургенева быть осторожнымъ, то онъ на это отвѣтилъ: «За Гоголя я готовъ сидѣть въ крѣпости.»

«Вѣроятно эту фразу онъ повторилъ еще гдѣ-нибудь, потому что Дубельтъ, встрѣтись на вечерѣ въ одномъ домѣ съ Панаевымъ, съ своей улыбкой сказалъ ему: «одному изъ сотрудниковъ вашего журнала хотѣлось посидѣть въ крѣпости, но его лишили этого удовольствія.»

Арестъ и высылка Тургенева были обставлены очень некрасиво. Тогдашній попечитель петербургскаго округа Мусинъ-Пушкинъ, заѣхавъ высшее начальство, что онъ призывалъ Тургенева лично и лично передалъ запрещеніе цензурнаго комитета печатать статью. *«А я — говоритъ Тургеневъ — г. Мусина-Пушкина и въ глаза не видалъ и никакого съ нимъ объясненія не имѣлъ.»*

Отсидѣвши три недѣли, гдѣ слѣдовало, Тургеневъ въ маѣ мѣсяцѣ, сопровождаемый жандармомъ, отправился въ Спасское. «Все къ лучшему, — говоритъ онъ: — пребываніе подъ арестомъ, а потомъ въ деревнѣ принесло мнѣ несомнѣнную пользу: оно сблизило меня съ такими сторонами русскаго быта, которыя, при обыкновенномъ ходѣ вещей, вѣроятно ускользнули-бы отъ моего вниманія.»

Домашній арестъ въ Спасскомъ не былъ строгъ, и Тургеневу скоро было разрѣшено навѣдываться въ Петербургъ по своимъ дѣламъ. Единственное лишеніе, которое онъ испытывалъ, было то

что ему не давали заграничнаго паспорта, такъ что вплоть до 56 года онъ дѣлилъ свое время между столицами и деревней. Работалъ онъ много, еще больше охотился и почти никогда не оставался одинъ, даже въ Спасскомъ, куда то и дѣло наѣзжали его друзья: Д. Григоровичъ, В. Воткинъ, Дружининъ.

«У меня—пишетъ Тургеневъ Полонскому въ июнѣ 1855 г.—гостили Григоровичъ, Дружининъ и Воткинъ. Мы время проводили очень весело, разыграли на домашнемъ театрѣ глупѣйшій фарсъ собственнаго изобрѣтенія и проч., и проч., и проч. Теперь все стало у меня въ домѣ очень тихо, и я принялся за работу. Ужасная засуха чуть не помѣшала всему, заставляя сидѣть въ темныхъ комнатахъ и лишая всякой возможности работать, но теперь, къ счастью, пошли дожди, а то-бы всѣ хлѣба пропали.»

Если на основаніи послѣднихъ словъ читатель подумаетъ, что Тургеневъ былъ склоненъ къ особенной заботливости о своихъ хлѣбахъ и урожаяхъ—онъ сильно ошибется. Ни малѣйшей хозяйственной жилки въ Тургеневѣ не было, чѣмъ онъ между прочимъ сильно отличается отъ Н. Н. Толстого. Онъ самъ то и дѣло называетъ себя «безалабернѣйшимъ изъ русскихъ помѣщиковъ». Въ управленіе своими громадными имѣніями онъ даже не вмѣшивался, поручая его то своему дядѣ, то поэту Тютчеву, то первому попавшемуся на глаза встрѣчному. Разъ зашла объ этомъ рѣчь, замѣтимъ, что Тургеневъ былъ очень богатъ, получалъ никакъ не менѣе 20 тысячъ въ годъ съ земли и, разумѣется, всегда нуждался въ деньгахъ, всегда сидѣлъ безъ гроша, перехватывая въ долгъ то тамъ, то здѣсь и раздавая сотнями на право и на-лѣво. Размахистыя привычки широкаго русскаго барства доставили Тургеневу много непріятностей въ жизни и породили массу глупыхъ, но обидныхъ сплетенъ. Литературный заработокъ Тургенева былъ также очень значителенъ; въ доходахъ «Современника», очень крупныхъ, онъ участвовалъ какъ пайщикъ; одно отдѣльное изданіе его «Записокъ» приносило ему 2,500 чистыхъ въ годъ, а право изданія его сочиненій покупалось у него за 20—25 т. руб.

Но это между прочимъ. Вернемся къ пребыванію въ Спасскомъ. Здѣсь у Тургенева была малонзвѣстная любовная исторія, о которой говорятъ лишь намеками. Въ догадки вдаваться не будемъ, а ограничимся лишь замѣчаніемъ, что незаконная дочь Тургенева, воспитанная имъ по аристократически, принесла ему мало радостей. Онъ впрочемъ и самъ былъ къ ней мало привязанъ, гораздо меньше, чѣмъ къ дочерямъ m-me Вярдо.

Что же за люди окружали Тургенева? что представлялъ кружокъ, въ которомъ онъ постоянно вращался? На этотъ вопросъ постараемся отвѣтить обстоятельнѣе.

У каждаго дѣсятилѣтія русской исторіи XIX-го вѣка есть свой излюбленный герой. Герой тридцатыхъ годовъ разочарованъ; онъ поклоняется Байрону, любитъ разсуждать о таинственномъ и страшномъ, «въ обществѣ онъ держится сумрачно, сдержанно, съ бурей въ душѣ и пламенемъ въ крови». Женскія сердца пожираются имъ. Онъ носитъ прозвище «фатальнаго». «Типъ этотъ, — говоритъ Тургеневъ, — сохранился долго до временъ Печорина... Чего-чего не было въ этомъ типѣ: и байронизмъ, и романтизмъ; воспоминанія о французской революціи, о декабристахъ — и обожаніе Наполеона, вѣра въ судьбу, звѣзду, силу характера, поза и фраза, и тоска пустоты; тревожныя волненія мелкаго самолюбія — и дѣйствительная сила, отвага; благодарныя стремленія и плохое воспоминаніе»... Придайте этому герою творческій гений и передъ вами возстанетъ сумрачная фигура Лермонтова.

Герой сороковыхъ годовъ — идеалистъ и народникъ... Лучшее проявленіе этого типа Влѣдскій. «Герой» преклоняется передъ Гегелемъ, признаетъ самостоятельное значеніе искусства, но въ то же время съ восторгомъ читаетъ Леру и Жоржъ Зандъ и набирается народолюбческаго духа.

Герой 50-хъ годовъ — эстетикъ и эпикуреецъ. Онъ обожаетъ Пушкина и Гёте, онъ проповѣдуетъ искусство для искусства. Онъ — оптимистъ въ душѣ.

Герой 60-хъ годовъ — прежде всего работникъ и, какъ таковой, ригористъ.

Эстетики, эпикурейцы и оптимисты въ душѣ и составляли ближайшій кружокъ Тургенева. Самыми типичными изъ нихъ слѣдуетъ признать В. П. Водкина и Дружинина.

Василій Петровичъ Водкинъ обладалъ несомнѣннымъ, хотя и не первокласснымъ литературнымъ дарованіемъ, что очевидно для каждаго, взявшаго на себя трудъ прочесть два тома его «Писемъ изъ Испаніи», гдѣ всѣ страницы, посвященныя описанію художественныхъ памятниковъ, положительно хороши. Но, какъ человекъ, В. Водкинъ не можетъ возбуждать въ нихъ особой симпатіи, развѣ за свои отношенія къ Влѣдскому, очень впрочемъ непродолжительныя. Богатый и родовитый помѣщикъ, онъ всю жизнь провелъ, кочуя по заграничнымъ курортамъ, и бывалъ въ Россіи преимущественно наѣздами. Горячихъ интересовъ въ его

чѣмъ другихъ беллетристовъ, почему дойти до такого гражданскаго индифферентизма, какъ Боткинъ или Дружининъ, онъ не могъ. Дружба съ Вѣлинскимъ и чудный образъ этого борца и трибуна не исчезалъ изъ его души никогда и полагалъ индифферентизму преграду, за которую Тургеневъ не переступалъ, даже въ душевной атмосферѣ 50-хъ годовъ. Тургеневъ все же былъ прогрессистомъ, хотя порою нѣсколько платоническимъ; честность же его мысли вѣ сомнѣній. Возьмите однако его отношеніе къ Некрасову, какъ къ поэту, и Герцену, вы сейчасъ же увидите передъ собою пятидесятника. Стихи Некрасова онъ называлъ «жованой бумагой, политою крѣпкой водкой», и не разъ высказывалъ ему прямо въ глаза свою антипатію къ его произведеніямъ. Характерна въ этомъ отношеніи сцена, переданная Головачевой:

— «Надѣюсь, Некрасовъ, ты поймешь,—говорилъ однажды Тургеневъ,—что мы для твоей-же пользы высказываемъ наше искреннее мнѣніе.

— Да, съ чего вы взяли, что я сержусь,—отвѣчалъ Некрасовъ на ходу.

— Не за что ему сердиться! не за что! онъ долженъ быть благодаренъ намъ!—произнесъ В. Н. Боткинъ.—Да, любезный другъ, твой стихъ тяжеловѣсенъ, нѣтъ въ немъ изящной формы; это огромный недостатокъ въ поэтѣ.

— Ты слишкомъ напиралъ въ своихъ стихотвореніяхъ на реальность,—замѣтилъ Тургеневъ.

— Да, да! а этого нельзя!—подхватилъ Боткинъ,—сильно напиралъ, и это коробитъ людей съ художественнымъ развитіемъ, рѣжетъ имъ ухо, которое не выноситъ диссонансовъ какъ въ музыкѣ, такъ и въ стихахъ. Поэзія, любезный другъ, заключается не въ твоей реальности, а въ изяществѣ какъ формы стиха, такъ и въ предметѣ стихотворенія.

— Вчера мы съ Боткинымъ провели вечеръ у одной изящной женщины съ поэтическимъ чутьемъ,—сказалъ Тургеневъ,—она пересчитала въ оригиналѣ всѣ стихи Гёте, Шиллера и Байрона. Я хотѣлъ познакомить ее съ твоими стихами и прочелъ ей: «Гду-ль по улицѣ». Она слушала съ большимъ вниманіемъ, и когда я кончилъ, знаешь ли, что она воскликнула? «Это не поэзія! Это не поэтъ!».

— Я знаю, что мои стихотворенія не могутъ нравиться свѣтскимъ женщинамъ!—проговорилъ Некрасовъ.

— Нельзя, любезный другъ, такъ свысока относиться къ мнѣнію свѣтскихъ женщинъ,—запальчиво возразилъ В. Н.—Пушкинъ, Лермонтовъ, и тѣ дорожили ихъ одобреніемъ, читали имъ свои стихи прежде, чѣмъ ихъ печатали.

— До Пушкина и Лермонтова мнѣ далеко!—отвѣчалъ Некрасовъ,—если я стану подражать имъ, то никуда не буду годенъ. У всякаго писателя есть своя своеобразность — у меня реальность...

— Вы, господа, можете быть и правы съ строгой точки эстетическаго взгляда на мои стихи, но вы забыли одно, что каждый писатель передаетъ то, что онъ глубоко прочувствовалъ. Такъ какъ мнѣ выпало на долю съ дѣтства видѣть страданіе русскаго мужика отъ холода, голода и всякихъ жестокостей, то мотивы для моихъ стиховъ я беру изъ ихъ среды.»

Въ оцѣнкѣ Тургенева и Боткина полностью выразилась эстетическая точка зрѣнія пятидесятниковъ. Но отъ излишковъ въ этомъ случаѣ, кромѣ воспоминаній о Вѣлинскомъ, спасалъ его и огромный умъ, воспитанный и образованный по-европейски. Такъ же органически не могъ онъ пристать къ движенію 60-хъ годовъ, какъ и къ реакціи: его постоянно коробило отъ пріемовъ нашихъ консерваторовъ, отъ «Переписки» Гоголя и шпионства «Московскихъ Вѣдомостей».

Въ личной жизни, кромѣ рассказаннаго уже выше эпизода съ некрологомъ Гоголя, — ничего особеннаго не приключилось съ Тургеневымъ вплоть до отъѣзда за-границу осенью 56-го года. Разумѣется, онъ уѣхалъ туда, какъ только оказалось возможнымъ, не дождавшись даже выхода въ свѣтъ изданія своихъ повѣстей, предпринятаго Анненковымъ. Эти повѣсти надѣляли много шуму, несмотря на то, что общее вниманіе было приковано событіями на южномъ берегу Крыма, гдѣ происходила тогда знаменитая осада Севастополя.

Слишкомъ извѣстно значеніе крымской войны, чтобы стоило о немъ распространяться. Смыслъ его заключается въ томъ, что мы, минувшіе себя богатыми, оказались бѣдными, считая себя непобѣдимыми, оказались разбитыми на всѣхъ пунктахъ. Мрачное предсказаніе Милюткина — будущаго военнаго министра, сдѣланное имъ наканунѣ войны, оказалось какъ нельзя болѣе справедливымъ. Вотъ что говорилъ Милюткинъ: «по бумагамъ мы вполнѣ готовы, но съ первыхъ же военныхъ дѣйствій обнаружится страшный недостатокъ во всемъ: всѣ озабочены вовсе не тѣмъ, чѣмъ слѣдуетъ. На всѣхъ золота будутъ покупать селитру, закупаются которой и не думаютъ, а когда начнется война, то ея доставка изъ за-границы будетъ невозможна; медицинская часть тоже въ плачевномъ состояніи; операціонныхъ инструментовъ мало, да и тѣ плохіе, докторамъ придется тупыми ножами ампутировать раненыхъ. Интендантство въ такомъ жалкомъ видѣ, что и въ мирное время никуда негодно, а въ военное — оставить войско безъ сапогъ, шинелей и сухарей. Все прекрасно для парадовъ и никуда негодно для войны. Не столько погибнетъ русскихъ солдатъ

отъ ранъ, сколько—отъ болѣзней, вслѣдствіе отсутствія гигиеническихъ мѣръ, которыя необходимо должны-бы быть предусмотрѣны высшимъ начальствомъ».

Но неудачи и возродили Россію къ новой жизни. Повѣяло новымъ духомъ, появились въ литературѣ новыя пѣсни, и мрачная эпоха первой половины пятидесятихъ годовъ канула въ вѣчность. Тургеневъ жплъ въ Парижѣ и внимательно слѣдилъ за всѣмъ, что пишется и дѣлается въ Россіи. Новому курсу онъ сочувствовалъ искренне и понималъ его, тѣмъ болѣе, что готовилось такъ дорогое его душѣ дѣло, какъ освобожденіе крѣпостныхъ крестьянъ. Его умъ, образованность, привычка къ европейской жизни позволяли ему не растеряться въ новомъ казавшемся движеніи. Онъ не почувствовалъ себя сразу не у дѣлъ, какъ напр. Дружининъ, хотя, разумѣется, многія повшества были ему не по сердцу. На сцену выступили работники, занятые прежде всего рѣшеніемъ практическихъ вопросовъ, стремившіеся къ созданію въ Россіи общества, — люди если и не посторонніе, то во всякомъ случаѣ сравнительно равнодушные къ искусству. Какъ же отнестся къ нимъ баричъ и эпикуреецъ Тургеневъ?

«Я — писалъ онъ напр. Дружинину—досаду на Чернышевскаго за его чорствый вкусъ и сухость, а также и за его нецеремонное обращеніе съ живыми людьми, но «мертвечины» я въ немъ не нахожу — напротивъ, я чувствую въ немъ струю живую, хотя и не ту, которую вы желали бы встрѣтить въ критикѣ. Онъ плохо понимаетъ поэзію; знаете-ли, это еще не великая бѣда; критикъ не дѣлаетъ поэтовъ и не убиваетъ ихъ; но онъ понимаетъ — какъ это выразить? — потребности дѣйствительной современной жизни и въ немъ это не есть проявленіе разстройства печени, какъ говорилъ нѣкогда милѣйшій Григоровичъ, а самый корень всего его существованія». То-же самое писалъ Тургеневъ и Толстому: «Теперь о статьяхъ Чернышевскаго.—Мнѣ въ нихъ не правится ихъ безцеремонный и сухой тонъ, выраженіе чорствой души, но я радуюсь возможности ихъ появленія, радуюсь воспоминаніямъ о Вѣлинскомъ, выпишамъ изъ его статей, радуюсь тому, что наконецъ прозвонится съ уваженіемъ его имя». Чернышевскій же, какъ всякій это знаетъ, былъ главаремъ прогрессивнаго теченія того времени: утилитаризмъ и экономическій реализмъ идутъ отъ него.

Одинаково характерно отношеніе Тургенева къ другой черно-земной юной силѣ нашего реализма—къ Д. И. Писареву. Правда,

говоря объ этомъ отношеніи, я забѣгаю впередъ, но общность темы позволяетъ мнѣ преступить противъ хронологіи.

«Имя Писарева напоминаетъ мнѣ слѣдующее: весной 67 г., во время моего проѣзда черезъ Петербургъ, онъ сдѣлалъ мнѣ честь посѣтить меня. Я до тѣхъ поръ съ нимъ не встрѣчался, и читалъ его статьи съ интересомъ, хотя со многими положеніями въ нихъ, вообще съ ихъ направленіемъ, согласиться не могъ. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкинѣ. Втеченіи разговора я откровенно высказался передъ нимъ. Писаревъ съ перваго взгляда производилъ впечатлѣніе чловѣка честнаго и умнаго, которому не только можно, но и должно говорить правду». Тургеневъ долго развивалъ свою тему. «Не знаю—добавляетъ онъ,—что подумалъ Писаревъ, но онъ ничего не отвѣчалъ мнѣ. Вѣроятно онъ не согласился со мной».

* * *

Я уже имѣлъ случай замѣтить выше, что, несмотря на крымскую кампанію и на то, что общее вниманіе было направлено совсѣмъ не въ сторону литературы и искусствъ, каждая новая вещь Тургенева, написанная имъ втеченіи 50-ыхъ годовъ, составляла своего рода эпоху и возбуждала горячую журнальную полемику. Особенно много споровъ и толковъ было по поводу «Рудина» (1856 г.). «Рудинъ» въ скоромъ времени сталъ такимъ же нарицательнымъ именемъ,—такимъ, какъ Онѣгинъ, Печоринъ, Чацкій. Въ этомъ типѣ Тургеневъ воплотилъ все лучшія, благородныя черты поколѣнія сороковыхъ годовъ, и вы видите, какъ все это лучшее, благородное подорвано въ самомъ корнѣ своей органической связью съ крѣпостнымъ бытомъ, своими барскими замашками, своей расшатанной, надломленной волей. Рудинъ прекрасно образованъ, даровитъ, талантливъ даже, а между тѣмъ идти дальше благороднаго кипѣнія и горенія онъ не можетъ. Онъ не способенъ ни къ какой упорной, систематической работѣ, не способенъ къ труду, хотя-бы и ничтожному, но такому, въ которомъ пришлось-бы запачкать свои бѣлыя, выхоленные барскія руки. Порывъ—вотъ сфера, гдѣ онъ чувствуетъ себя, какъ рыба въ водѣ, слово—вотъ орудіе, въ пользованіи которымъ онъ не знаетъ себѣ равнаго. Но онъ чувствуетъ инстинктивно отвращеніе ко всему, что напоминаетъ упорную, упрямую воловью работу. Его руки скоро устаютъ, сердце скоро охлаждѣваетъ, нервы утомляются; быстро переходитъ онъ отъ восторга къ меланхоліи.

Онъ — эстетикъ по преимуществу. Онъ готовъ умереть за свои убѣжденія, но для этого нужна особенная, возбуждающая, красивая или ужасная обстановка. Онъ никогда не можетъ отрѣшиться отъ извѣстнаго рода театральности въ словахъ и поступкахъ. У него орлиное сердце, орлиный умъ, но крохотныя, слабыя крылья. Его то главнымъ образомъ имѣлъ въ виду Вогюэ, когда писалъ свою характеристику русскаго интеллигента, гдѣ между прочимъ попадаются такія строки: «въ большинствѣ случаевъ этотъ молодой человекъ образованъ, грустенъ, богатъ идеями и бѣдѣнъ дѣйствіями, вѣчно готовится къ работѣ, мучится идеаломъ общественнаго блага, идеаломъ смутнымъ, великодушнымъ. Это любимый типъ русскаго романа». Трудно не полюбить Рудина, еще труднѣе не жалѣть его. Его надорванная воля надорвана не имъ самимъ, а поколѣніями предковъ-крѣпостниковъ. Рудинъ расплатился по громадному счету и погибъ. Десятилѣтня бездѣлья, тунеядства, холопства передъ сильнымъ, издѣвательства надъ слабымъ, роскошныхъ забавъ, добросовѣстнаго ребяческаго разврата — надломилъ его. Если когда нибудь въ его душѣ копошилось проклятіе — то это проклятіе «обманутаго сына надъ промотавшимся отцомъ».

Въ характерѣ Рудина есть много такого, что напоминаетъ самого Тургенева. Несомнѣнное рыцарство и неособенно высокое тщеславіе, идеализмъ и склонность къ меланхоліи, огромный умъ и надломленная воля — развѣ это не авторъ «Отцовъ и Дѣтей»?

Критика не сразу поняла и оцѣнила Рудина, хотя этотъ яркій образъ поразилъ ее. Живя за границей и читая сужденія, часто несправедливыя, а иногда прямо обидныя, Тургеневъ ощущалъ не только вполне законное недовольство, но и тоску. Какъ десять лѣтъ до этого, какъ восемь лѣтъ спустя, онъ думалъ даже отказаться отъ литературной дѣятельности, — желаніе, которое можно объяснить лишь его особенной болѣзненной мнительностью.

«Все это вздоръ, — писалъ онъ напр. въ 1857 г. В. П. Боткину, — таланта съ особенною фizioномією и цѣлостностью у меня нѣтъ; были поэтическія струнки, да онѣ прозвучали и отзвучали — повторяется не хочется. Въ отставку! Это не вспышка досады, повѣрь мнѣ, это выраженіе или плодъ медленно созрѣваемаго убѣжденія. Неуспѣхъ моихъ повѣстей ничего не ска-
залъ новаго... Такъ какъ я порядочно владѣю руссійскимъ язы-

комъ, то я намѣренъ заняться переводомъ «Донъ Кихота» — если буду здоровъ».

Къ счастью, это было лишь временнымъ и даже мимолетнымъ настроеніемъ, приступомъ ипохондріи — не больше. Въ томъ-же 57 г. Тургеневъ написалъ «Асю». Опять та-же мнительность заставила его предположить, что «Ася блистательно и съ трескомъ провалилась», а между тѣмъ повѣсть вызвала очень сочувственную критическую статью Чернышевскаго, подъ заглавіемъ «Русскій человекъ на rendez-vous».

Въ «Асѣ» есть кое что автобіографическое, чего однако мы касаться не можемъ, почему и ограничимся немногими словами о произведеніи вообще. Любопытно между прочимъ, что уже по отзывамъ критиковъ объ «Асѣ» и «Рудинѣ» можно было ожидать разрыва Тургенева съ шестидесятниками. Чернышевскій въ своей статьѣ съ обычной рѣзкостью формулируетъ почву назрѣвающей ссоры, хотя въ самомъ началѣ и заявляетъ, что «Ася» — «едва ли не единственная хорошая, новая повѣсть». Въ чемъ тутъ дѣло? Исклѣчительно въ симпатіи, какую питалъ, да и не могъ не питать Тургеневъ къ благороднымъ, но дряблымъ людямъ — къ честнымъ, но не дѣятельнымъ натурамъ, — къ идеалистамъ, робко и трусливо отступающимъ отъ жизни и дѣйствительности. Эта барская симпатія не могла не претить Чернышевскому. «Такъ ли, — спрашиваетъ критикъ, — авторъ ошибся въ своемъ героѣ? Если ошибся, то не въ первый разъ дѣлаетъ эту ошибку. Сколько ни было у него рассказовъ, приводившихъ къ тому-же положенію какъ въ «Асѣ», каждый разъ его герои выходили изъ этихъ положеній не иначе, какъ совершенно сконфузившись передъ нами. Въ «Фаустѣ» герой старается ободрить себя тѣмъ, что ни онъ, ни Вѣра не имѣютъ другъ къ другу серьезнаго чувства; сидѣть съ ней, мечтать о ней — это его дѣло, а по части рѣшительности онъ даже въ словахъ держитъ себя такъ, что Вѣра сама должна сказать ему, что любить его... Онъ... онъ «смутился». Не удивительно, что послѣ такого поведенія любимаго человека (иначе какъ поведеніемъ нельзя назвать образъ поступковъ этого господина) у бѣдной женщины сдѣлалась нервическая горячка, еще натуральнѣе, что потомъ онъ сталъ плакаться на свою судьбу... Это въ «Фаустѣ», почти то-же и въ «Рудинѣ», и въ «Асѣ»...»

Эта выписка изъ статьи Чернышевскаго показываетъ его точку зрѣнія. Иначе какъ съ презрѣніемъ не можетъ отнестись онъ къ безхарактерности тургеневскихъ героевъ; ему, какъ работ-

нику, нужна и дорога прежде всего воля, упорство въ трудѣ, искренность въ убѣжденіяхъ. И онъ, разумѣется, противъ того, чтобы безхарактерные герои являлись окруженными ореоломъ самой чистой, музыкальной, тургеневской поэзіи...

Въ 58 г. Тургеневъ ненадолго вернулся въ Россію, но оставаться здѣсь онъ уже не могъ. Отношенія къ семейству Віардо становились все болѣе тѣсными, и къ этому-же времени осуществилась давнишняя мечта Тургенева—сдѣлаться европейскимъ писателемъ. Переводы его повѣстей и разсказовъ на иностранные языки стали уже обычными и вызывали къ себѣ самое лестное вниманіе. Послѣ 60-го года Тургеневъ бываетъ въ Россіи лишь урывками.

IV.

Шестидесятые годы.—«Отцы и Дѣти».

Прежде чѣмъ описывать переломъ въ жизни Тургенева, ознаменованный появленіемъ его «Отцовъ и Дѣтей», я хочу сдѣлать добавленія по одному пункту, едва затронутому мною на предыдущихъ страницахъ. Я сказалъ, что втеченіи 50-ыхъ годовъ Тургеневъ сдѣлался европейскимъ писателемъ и что это было его юношеской мечтой. Утверждая это, я опираюсь главнымъ образомъ на свидѣтельство Панаевой. Но ея разсказу, между Тургеневымъ и Некрасовымъ еще въ 52 г. произошелъ слѣдующій характерный разговоръ:

«Тургеневъ болѣе всѣхъ современныхъ ему литераторовъ былъ знакомъ съ гениальными произведеніями иностранной литературы, прочитавъ ихъ всѣхъ въ подлинникѣ. Некрасовъ и Панаевъ это хорошо сознавали.

— Да, Россія отстала въ цивилизаціи отъ Европы, — говорилъ Тургеневъ, — развѣ у насъ могутъ народиться такіе великіе писатели, какъ Данте, Шекспиръ?

— И насъ Богъ не обидѣлъ, Тургеневъ, — замѣтилъ Некрасовъ, — для русскихъ Гоголь—Шекспиръ.

Тургеневъ снисходительно улыбнулся и произнесъ:

— Хватилъ, любезный другъ, черезъ край! Ты согласишься громадную разницу. Шекспира читаютъ все образованныя націи на

всемъ земномъ шарѣ уже нѣсколько вѣковъ и бесконечно будутъ читать. Это мировые писатели, а Гоголя будутъ читать только одни русскіе, да и то нѣсколько тысячъ, а Европа не будетъ и знать даже о его существованіи!

Тяжко вздохнувъ, Тургеневъ уныло продолжалъ:

— Печальна вообще участь русскихъ писателей, они какіе-то отверженники, ихъ существованіе жалко, кратковременно и безцѣльно! Право, общино; даже какого-нибудь Дюма всѣ европейскія націи переводятъ и читаютъ.

— Богъ съ ней, съ этой европейской извѣстностью, для насъ важнѣе, еслибъ русскій народъ могъ насъ читать, — сказалъ Некрасовъ.

— Завидую твоимъ скромнымъ желаніямъ! — проиническимъ тономъ отвѣчалъ Тургеневъ. — Не понимаю даже, какъ ты не чувствуешь приниженности, пресмыканія, на которыя обречены русскіе писатели? Вѣдь мы пишемъ для какой-то горсточкѣ однихъ только русскихъ читателей. Впрочемъ ты потому не чувствуешь этого, что не видишь, какое положеніе занимаютъ иностранные писатели въ каждомъ цивилизованномъ государствѣ. Они считаются передовыми членами образованнаго общества, а мы? Какіе-то паріи! не смѣемъ высказать ни нашихъ мыслей, ни нашихъ порывовъ души — сейчасъ насъ въ кутузку, да и это мы должны считать за милость... Сидишь, пишешь и знаешь заранѣе, что участь твоего произведенія занесть отъ какихъ-то бухарисовъ, закутанныхъ въ десяти халатахъ, въ которыхъ они прѣлуютъ, и такъ приняхались къ своему вонючему поту, что чуть пахнутъ на ихъ конусообразныя головы свѣжій воздухъ, приходитъ въ ярость и, какъ дикіе зѣбры, начинаютъ вырывать куски изъ твоего сочиненія! По моему, рациональнѣе было бы поломать всѣ типографскіе станки, сжечь всѣ бумажныя фабрики, а у кого увидятъ перо въ рукахъ, — сажать на колѣ!.. Итъ, только меня и видѣли; какъ получу наслѣдство, убѣгу и строки не напишу для русскихъ читателей.

— Это тебѣ такъ кажется, а поживешь за границей, такъ потянетъ тебя въ Россію, — произнесъ Некрасовъ, — насъ вѣдь вдохновляетъ русскій народъ, русскія поля, наши лѣса; безъ нихъ, право, намъ ничего хорошаго не написать. Когда я бесѣдную съ русскимъ мужикомъ, его безхитростная здравая рѣчь, безкорыстное человѣческое чувство къ ближнему заставляютъ меня сознавать, какъ я развращенъ передъ нимъ и сердцемъ, и умомъ, и краснѣю за свой эгоизмъ, которымъ пропитался до мозга костей... Можетъ быть тебѣ это кажется дикимъ, но въ бесѣдахъ съ образованными людьми у меня не появляется этого сознанія! А главное, на русскихъ писателяхъ лежитъ долгъ по мѣрѣ силъ и возможности раскрывать читателямъ позорныя картины рабства русскаго народа.

— Я не ожидалъ именно отъ тебя, Некрасовъ, чтобы ты былъ способенъ предаваться такимъ ребяческимъ иллюзіямъ.

— Это не мои иллюзіи, развѣ не чувствуется это сознаніе въ обществѣ.

— Если и зародилось сознаніе, такъ развѣ въ видѣ атома, котораго человѣческій глазъ различить не можетъ, да и въ воздухѣ,

зараженномъ міазмами, этотъ атомъ мгновенно погибнетъ. Нѣтъ—я въ душѣ европеецъ, мои требованія отъ жизни тоже европейскія. Я не намѣренъ покорно ждать участи, когда наступитъ праздникъ и мнѣ выпадетъ жребій быть съѣденнымъ на праздникъ людоедовъ! да и криваго патріотизма я не понимаю. При первой возможности убѣгу безъ оглядки отсюда и кончика моего носа не увижу».

Мечта Тургенева сбылась. Одной изъ миссій его генія было ознакомить Европу съ русскимъ художественнымъ творчествомъ и заинтересовать ее имъ. Съ этою цѣлью напр. онъ постоянно переводилъ или руководилъ переводами сочиненій Толстого. Цѣль своей онъ достигъ какъ нельзя лучше. Онъ былъ первымъ пионеромъ; теперь почти все лучшія произведенія русской литературы (Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Достоевскій, Толстой) переведены на иностранныя языки, а что можетъ быть важнѣе для развитія взаимной симпатіи между народами, какъ не знакомство съ памятниками духа той или другой національности.

Никто, замѣтимъ, не былъ лучше Тургенева приспособленъ къ этой высокой и трудной задачѣ. Онъ по самому существу своего дарованія былъ не только русскій, а и европейскій, всемірный писатель, какимъ никогда не будетъ напр. Гоголь. Со всемъ своимъ громаднымъ талантомъ Гоголь никогда не будетъ такъ родствененъ и близокъ, такъ понятенъ Европѣ, потому что ея типы чисто русскіе, тогда какъ тургеневскіе—общечеловѣческіе пожалуй, даже абстрактно-психологическіе. Конечно люди—везде люди, однѣ и тѣ-же страсти ихъ волнуютъ, однѣ и тѣ-же радости и скорби ихъ посѣщаютъ. Но, когда Гоголь рисовалъ свои образы, онъ ихъ вырывалъ, такъ сказать, съ корнемъ изъ русской жизни и такъ ихъ предъявлялъ читателю. Тургеневъ давалъ своимъ образамъ только обстановку русскую, и потому для француза нѣмца, англичанина представлялъ двойной интересъ: тонко разработанный знакомый общечеловѣческій типъ на фонѣ чуждой своеобразной обстановки.

Но въ то время, какъ слава Тургенева за границей быстро нарастала, случился грустный анекдотъ—ссора Тургенева съ русской молодежью и почти формальнаго преданія великаго писателя ostrakizmu. Это знаменитая исторія съ «Отцами и Дѣтьми». Чтобы понять ее, надо имѣть въ виду слѣдующее:

1) Къ своему постоянному сотруднику Тургеневу «Современникъ», вообще говоря, относился хотя и безъ восторговъ, но съ полнымъ уваженіемъ. Въ «Современникѣ» вплоть до 62 года печаталось все, что выходило изъ подъ пера знаменитаго романиста

Здѣсь появились «Рудинъ», «Фаустъ», «Ася», «Дворянское Гнѣздо», «Наканунѣ» и т. д. Здѣсь же Чернышевскій напечаталъ свою статью объ «Асѣ», Добролюбовъ—о «Наканунѣ». Самъ Тургеневъ былъ связанъ съ Некрасовымъ воспоминаніями о Вѣльскомъ, о вмѣстѣ проведенной юности; къ «Современнику» онъ привыкъ и смотрѣлъ на него, какъ на свой журналъ; въ Чернышевскомъ цѣнили пониманіе дѣйствительности и ея потребностей; на первыхъ порахъ онъ хорошо относился и къ Добролюбову. Казалось-бы, чего лучше? Но Тургеневъ былъ человѣкъ слабый, нерѣшительный. Возлѣ него всегда находилась толпа прихлебателей, льстившихъ, наущивавшихъ и т. д. Тургеневъ отдѣлаться отъ нихъ не могъ, хотя они и надѣдали ему, какъ осеннія мухи. Хорошенько неизвестно зачѣмъ и почему, но этимъ господамъ понадобилась разсорить Тургенева съ «Современникомъ», и прежде всего съ Добролюбовымъ. Это имъ удалось, хотя формальной ссоры не произошло. Совершенно неожиданно послѣ появленія статьи Добролюбова о «Наканунѣ»,—статьи, хотя и сдержанной, но умной и лестной, Тургеневъ заявилъ Некрасову: «я или Добролюбовъ—выбирай». Некрасовъ хотѣлъ было пойти на какойнибудь компромиссъ, но это не удалось, Тургеневъ стоялъ на томъ, что статья Добролюбова для него обидна. Поэтому то «Отцы и Дѣти» вмѣсто «Современника» появились въ «Русскомъ Вѣстникѣ»,—журналъ, пользовавшемся совсѣмъ другой репутаціей и имѣвшемъ совершенно другой кругъ читателей, чѣмъ «Современникъ».

Въ разсказанномъ столкновеніи многое и до сей поры остается неяснымъ, мнѣ даже неловко нѣсколько сообщать читателю эту грустную литературную дразгу, но—увы!—кому изъ русскихъ писателей удалось прожить безъ дразгъ, безъ обидъ, обусловленныхъ несправедливымъ обиліемъ литературной сволочи? Тургеневъ былъ повидному не совсѣмъ правъ, но кто-же особенно строго отнесется къ нему за то, что онъ повѣрилъ наущничеству? Вѣдь понимали-же на ту-же удочку Герцена, который помѣстилъ въ своемъ журналѣ статью, гдѣ неизвестный мужчина смѣшивалъ Добролюбова чуть ли не съ грязью? Лично Тургеневъ зналъ Добролюбова очень мало, а поговоривши съ нимъ раза два, не могъ не воскликнуть: «меня удивляетъ, какимъ образомъ Добролюбовъ, недавно оставивъ школьную скамью, могъ такъ основательно ознакомиться съ хорошими иностранными сочиненіями? и какая чертовская память!»...

Повидному вся эта исторія недурно объясняется обычною

«ложью враговъ и клеветой друзей». Но какъ бы то ни было, что то личное непріязненное осталось послѣ нея во взаимныхъ отношеніяхъ Тургенева и редакціи «Современника».

2) Характеризуя «Современникъ» вообще, его главныхъ дѣлателей въ частности, Тургеневъ особенно щедръ на два эпитета — чорствый и сухой. Чорствымъ и сухимъ оказывается Чернышевскій, еще болѣе чорствымъ и сухимъ оказывается Добролюбовъ. Буквально такъ-же, замѣтимъ, выражается всегда и г. Григоровичъ, для котораго Добролюбовъ напр. «даровитый, но сухой и замкнутый молодой человекъ». Люди двухъ поколѣній очевидно не поняли, да и не могли понять другъ-друга. Передъ нами два совершенно различныхъ нравственныхъ и общественныхъ типа. «Отцы» могли совершенно расходиться въ убѣжденіяхъ (какъ напр. Фетъ и Тургеневъ), — Тургеневъ могъ даже презирать Фета за его мракобѣсіе и держимордство и вмѣстѣ съ тѣмъ быть съ нимъ на дружеской ногѣ, писать ему дружескія письма. Нравственная отвѣтственность людей сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ (за самыми ничтожными исключеніями) передъ мыслью, убѣжденіемъ была очень слаба. Можно было отъ души отрывать крѣпостничество и быть крѣпостникомъ въ дѣйствительности. Мостикъ между словомъ и дѣломъ былъ настолько хрупкій, что ступить на него всегда было очень опасно. Благородство сосредоточивалось преимущественно въ словахъ, мысляхъ, чувствахъ — оно скорѣе созерцалось, чѣмъ проводилось въ жизнь, и не нужно особенно углубляться въ психологическія тонкости, чтобы понять причины этого несообразнаго явленія. Причина та — что никакіе поступки въ сущности не были возможны, что о самыхъ простыхъ вещахъ приходилось переговариваться шепотомъ, что трусость и робость органически прививались къ человеку путемъ розогъ въ школѣ и дома, заугиванія на службѣ и въ жизни. «Трусость — мать всѣхъ пороковъ», сказалъ мудрецъ и онъ правъ. Увы, гражданское мужество въ обстановкѣ 40-ыхъ годовъ требовало не порядочности, не честности, а рѣдкаго, совершенно исключительнаго героизма, требовать котораго мы не вправе ни отъ кого. Напомню одну характерную и обидную сцену, въ которой измѣльчавшая душа человѣческая проявилась полностью. Однажды, когда В. Боткинъ пріѣхалъ въ Женеву и увидѣлъ на пристани Герцена, онъ до того испугался, что сталъ наскоро собирать пожитки и чуть не прыгнулъ въ воду. Герценъ также замѣтилъ своего прежняго

друга и, стоя на берегу, проговаривалъ: «стыдно, В. П.! Стыдно!». Но Боткинъ все-таки улепетнулъ.

Къ счастью, эта отрицательная сторона людей сороковыхъ годовъ только слегка коснулась Тургенева (какъ и Некрасова), но не заразила его. Однако все-же, что видно изъ его личныхъ отношеній съ людьми, онъ далеко не былъ ригористомъ и часто пожималъ руку тому, кому пожимать-бы ее не слѣдовало. Въ 60-ые же года на это смотрѣли очень строго, ибо на сцену появились партіи, которыя общаго другъ съ другомъ не имѣли ничего.

«Тургеневъ—говорить Анненковъ въ воспоминаніяхъ—не могъ останавливаться долго на одномъ рѣшеніи и на одномъ чувствѣ изъ опасенія замѣшкаться и упустить самую жизнь, которая бѣжитъ мимо и никого не ждетъ. Имъ овладѣвалъ родъ первичнаго безпокойства, когда приходилось только издали прислушиваться къ ея шуму. Онъ постоянно рвался къ разнымъ центрамъ, гдѣ она наиболѣе кипитъ, и сгораетъ каждой оцунать возможно большее количество характеровъ и типовъ, ею порожденныхъ, каковы бы они ни были. Не мало жертвъ принесъ онъ этому влеченію своей природы, становясь иногда рядомъ съ довольно ничтожными личностями, по своимъ стремленіямъ, и продолжая съ ними подолгу одинаковый путь, точно онъ былъ его собственный или особенно излюбленный имъ. Независимость всѣхъ движеній Тургенева, свободные переходы его отъ одного стана къ другому, противоположному, отъ одного круга идей къ другому, ему враждебному, а также и радикальныя перемѣны въ образѣ жизни, въ выборѣ занятій и интересовъ, поочередно приковывавшихъ къ себѣ его вниманіе, были загадкой для его строгихъ друзей и составили ему въ средѣ немалую ренутацию легкомыслія и слабохарактерности.»

Тургеневъ былъ прежде всего художникомъ, поэтомъ и менѣе всего человекомъ партіи, доктрины, политическимъ дѣятелемъ. Это не недостатокъ, а просто особенность натуры, закрѣпленная впечатлѣніями жизни. Сочувствуя прогрессу, онъ однако могъ съ отвращеніемъ отвернуться отъ той временной формы, въ какую вылилось прогрессивное движеніе. Относительно искусства онъ напр. совершенно не могъ столкнуться съ шестидесятниками. Позволю себѣ напомнить, что я писалъ по этому поводу въ другомъ мѣстѣ:

«40-ые годы и красотѣ поклонялись, и мужику глубоко сострадали. 60-е—прежде всего рабочіе годы и какъ отъ таковыхъ смѣшно и странно требовать, чтобы они являлись передъ нами во фракѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, съ цитатой изъ Пушкина или Гюго на устахъ. Имъ было не до того, имъ надо было по красивому и изящно-нарисованному плану выстроить зданіе, въ ко-

торомъ каждому было-бы тепло и удобно жить. Естественно, что они пачкались въ грязи и мусорѣ и, отбросивши комфортъ и эстетику, изо всѣхъ силъ принялись стучать молотками и топорами. Подойдите вы къ человѣку, увлеченному физической или другой работой, и попросите его вмѣстѣ съ вами полюбоваться на голубое небо, на струю свѣтлой лазури и т. д., вамъ придется услышать вѣроятно невѣжливое: «а-ну, тебя!...»

«Присмотритесь къ 60-мъ годамъ и передъ вами оживетъ цѣлое поколѣніе, если хотите не совсѣмъ уклюжее, не совсѣмъ изящное, совершенно несозерцательное поколѣніе, на долю котораго выпала преимущественно черная работа—ликвидация крѣпостного права и крѣпостныхъ отношеній вообще. Вѣдь и И. П. Толстой былъ тогда мировымъ посредникомъ и училъ ребятъшекъ въ яснополянской школѣ. Другіе составляли справочныя книжки, энциклопедическіе словари, популяризировали науку. Инженеру, проводящему желѣзную дорогу, нѣтъ дѣла до того, что ему придется срубить вѣковой дубъ, подъ сѣнью котораго еще вчера цѣловались влюбленные», но для Тургенева эти вѣковые дубы и ясени, эти густолиственные кленовыя аллеи были полны значенія и смысла поэзіи.

Искусство для Тургенева было самостоятельной областью человѣческаго духа, независимою и ничему не обязанною служить *), для шестидесятниковъ искусство было лишь однимъ изъ способовъ воздѣйствія на умъ и сердце людей, т. е. рабочей силой, подчиненной интересамъ общественности. Тургеневъ былъ совершенно искрененъ, когда, сравнивая Вѣлинскаго и Добролюбова, говорилъ: «Въ Вѣлинскомъ былъ священный огонь пониманія художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а въ Добролюбовѣ всюду сухость и односторонность взгляда. Вѣлинскій своими статьями развивалъ эстетическое чувство, увлекалъ ко всему возвышенному...» Тургеневъ и въ Вѣлинскомъ цѣнилъ прежде всего художника.

Все это подготовило почву для разрыва, и онъ произошелъ на самомъ дѣлѣ. Какъ—увидимъ сейчасъ.

* *
*

*) Любимымъ изреченіемъ Тургенева были стихи Пушкина:

«Дорогою свободной
Иди, куда зоветь тебя свободный умъ.»

«Я бралъ,—разсказываетъ Тургеневъ,—морскія ванны въ Вентноръ, маленькомъ городкѣ, расположенномъ на островѣ Уайтъ,—дѣло было въ августѣ мѣсяцѣ 1861 г.,—когда мнѣ пришла въ голову первая мысль «Отцовъ и Дѣтей»,—этой повѣсти, по милости которой прекратилось, и кажется навсегда, благосклонное расположение ко мнѣ русскаго молодого поколѣнія... Въ основаніи главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинціального врача. Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось—на мои глаза—то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и въ то-же время не совѣтъ ясно; я на первыхъ порахъ самъ не могъ хорошенько отдать себѣ въ немъ отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, какъ-бы желая провѣрить правдивость собственныхъ ощущеній... Втеченіи нѣсколькихъ недѣль я избѣгалъ всякихъ размышленій о затѣянной мною работѣ; однако, вернувшись въ Парижъ, я снова принялся за нее—фабула понемногу сложилась въ моей головѣ: втеченіи зимы я написалъ первыя главы, но окончилъ повѣсть уже въ Россіи, въ деревнѣ, въ іюлѣ мѣсяцѣ. Осенью я прочелъ ее нѣкоторымъ пріятелямъ, кое что исправилъ, дополнилъ и въ февралѣ 62 г. «Отцы и Дѣти» появились въ «Русскомъ Вѣстникѣ».

«Не стану распространяться о впечатлѣніи, произведенномъ этой повѣстью; скажу только, что, когда я вернулся въ Петербургъ въ самый день извѣстныхъ пожаровъ Апраксинаскаго двора,—слово «нигилистъ» было подхвачено тысячами голосовъ, и первое восклицаніе, вырвавшееся изъ устъ перваго знакомаго, встрѣченнаго мною на Невскомъ, было: «Посмотрите, что *ваши* нигилисты дѣлаютъ: жгутъ Петербургъ...» Я испыталъ тогда впечатлѣнія разнородныя, но одинаково тягостныя. Я замѣчалъ холодность, доходившую до негодованія, во многихъ мнѣ близкихъ и симпатичныхъ людяхъ, я получалъ поздравленія, чуть не лобызанія отъ людей противнаго мнѣ лагеря, чуть не враговъ. Меня это конфузило и огорчало; но совѣсть не упрекала меня; я хорошо зналъ, что я честно и не только безъ предубѣжденія, но даже съ сочувствіемъ отнесся къ выведенному мною типу... Мои критики называли мою повѣсть памфлетомъ, упоминали о раздраженномъ, уязвленномъ самолюбіи; но съ какой стати сталъ бы я писать памфлетъ на Добролюбова, съ которыми «почти

не выдался, но котораго высоко цѣнилъ, какъ человѣка и талантливаго писателя?»

Дѣло доходило даже до обвиненія въ пасквильнствѣ. Но все же въ приведенныхъ словахъ только слабый отзвукъ того возмущенія и шума, которые вызваны были появленіемъ «Отцовъ и Дѣтей». Можно положительно сказать, что романъ былъ прочитанъ даже такими людьми, которые со школьной скамьи не брали книгъ въ руки. Панаева рисуетъ намъ любопытную картину этого общаго возбужденія...

«Однажды,—разсказываетъ она,—я сидѣла въ гостяхъ у однихъ знакомыхъ, когда къ нимъ явился ихъ родственникъ, отставной генералъ, одинъ изъ числа тѣхъ многихъ недовольныхъ генераловъ, которые получили отставку послѣ Крымской войны. Этотъ генералъ, едва только вошелъ, уже завелъ рѣчь объ «Отцахъ и Дѣтяхъ».

— Признаюсь, я эту дребедень, называемую повѣстями и романами, не читаю, но куда не придешь—только и разговоровъ, что объ этой книжкѣ... стыдить, уговариваютъ прочитать... Дѣлать нечего,—прочитать... Молодецъ сочинитель; если встрѣчу гдѣ нибудь, то расцѣлую его! молодецъ! ловко ошельмовать этихъ дохматыхъ господчиковъ и ученыхъ шлюхъ! Молодецъ!.. Придумалъ же имъ названіе—нигилисты! попросту вѣдь это значить глупцы!.. Молодецъ! Итъ, этому сочинителю за такую книжку надо было бы дать чинъ, поощрить его, пусть сочинитъ еще книжку объ этихъ пакостныхъ глупцахъ, что развелись у насъ!»

Мнѣ также пришлось видѣть перепуганную, пожилую, добродушную чиновницу, заподозрившую своего стараго мужа въ нигилизмѣ, на основаніи только того, что онъ на Пасхѣ не поѣхалъ дѣлать поздравительные визиты знакомымъ, резонно говоря, что въ его лѣта уже тяжело тренаться по визитамъ и понесту тратить деньги на извозчиковъ и на водку швейцарамъ. Но его жена, напуганная толками о нигилистахъ, такъ перенормилась, что выгнала изъ своего дома племянника, бѣдняка-студента, къ которому прежде была расположена и которому давала столъ и квартиру. Но у добродушной чиновницы исчезло всякое состраданіе отъ страха, что ей мужъ окончательно превратился въ нигилиста отъ сожительства съ молодымъ человѣкомъ. Иныя барышни пугали своихъ родителей тѣмъ, что сдѣлаются нигилистками, если имъ не будутъ доставлять развлеченій, т. е. вывозить ихъ на балы, театры и нашивать имъ наряды. Родители, во избѣжаніе срама, входили въ долги и исполняли прихоти дочерей. Но это все были комическія стороны, а сколько происходило семейныхъ драмъ, гдѣ родители и дѣти одинаково дѣлались несчастными на всю жизнь изъ-за антагонизма, который, какъ ураганъ, проносился въ семьяхъ, вырывая съ корнемъ связь между родителями и дѣтьми. Ожесточеніе родителей доходило до безчеловѣчности, а увлеченіе дѣтей—до фанатизма.»

Къ величайшему сожалѣнію, приходится отмѣтить тотъ фактъ,

что общество совершенно не поняло романа. Оно толковало его именно въ томъ смыслѣ, что онъ былъ «ниспроверженіемъ нигилистовъ». Вышло недоразумѣніе грандіозное, почти невѣроятное, неимѣющее себѣ примѣровъ въ исторіи литературы. Посмотрите, какъ сходятся свидѣтельства двухъ лицъ, враждебно расположенныхъ другъ другу,—самого Тургенева и Головачевой: Тургеневъ говоритъ, что ему приходилось пожимать руки «почти враговъ», Головачева свидѣтельствуешь объ отзывѣ «генераловъ». Да! вышло что-то непостижимое, лучший романъ Тургенева и несомнѣнно самый прогрессивный былъ забракованъ прогрессивной русской публикой... Молодежь обидѣлась до такой степени, что рѣшилась прямо высказать это демонстративно и не прислала Тургеневу обычнаго почетнаго билета на концертъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ.

Въ недоразумѣніи, произведенномъ «Отцами и Дѣтьми», повинна прежде всего зло и умѣло написанная статья въ «Современникѣ», подъ заглавіемъ «Асмодей нашего времени». Статья эта была, если можно такъ выразиться, пущена по горячимъ слѣдамъ романа и, благодаря громадному вліянію журнала, безусловно достигла своей цѣли. Г. Антоновичъ старался доказать, что такихъ людей, какъ Базаровъ, нѣтъ и что это не типъ, а карикатура, созданная Тургеневымъ специально для того, чтобы излить свой гнѣвъ на юную Россію и отвращеніе къ ней. Замѣтно также желаніе развѣичать Тургенева вообще. «Новый романъ г. Тургенева—читаемъ мы—крайне неудовлетворителенъ въ художественномъ отношеніи... съ первыхъ же страницъ, къ величайшему изумленію читающаго, имъ овладѣваетъ нѣкотораго рода скука... когда дѣйствіе романа развертывается, ваше любопытство не шевелится, ваше чувство остается нетронутымъ... мы правда и не ожидали отъ г. Тургенева чего нибудь особеннаго и необыкновеннаго» и т. д., и т. д. Объ отношеніи автора къ своимъ героямъ критикъ «Современника» говоритъ: «г. Тургеневъ питаетъ къ нимъ какую-то *личную* ненависть и непріязнь, какъ будто они *лично* сдѣлали ему когда нибудь обиду и пакость, и онъ старается отомстить имъ на каждомъ шагѣ, какъ человѣкъ, лично оскорбленный; онъ съ внутреннимъ удовольствіемъ отыскиваетъ въ нихъ слабости и недостатки, о которыхъ и говорить дурно скрываемымъ злорадствомъ и только для того, чтобы унижить героя въ глазахъ читателя: посмотрите, дескать, какіе негодяи—мои враги и противники». Ясно, куда мѣтитъ г. Антоно-

вичъ: ему непремѣнно хочется, чтобы читатель видѣлъ въ романѣ не художественное произведеніе, а памфлетъ противъ личныхъ какихъ-то враговъ. Дальше идетъ настоящая травля Базарова и Тургенева. Базаровъ оказывается скопникомъ всѣхъ смертныхъ грѣховъ, плотоугодникомъ, чуть ли не дуракомъ, — Тургеневъ—чѣмъ то вродѣ Вулгарина.

Г. Антоновичъ не такой человѣкъ, чтобы писать по личному раздраженію: въ романѣ Тургенева онъ очевидно усмотрѣлъ общественное зло. Онъ хотѣлъ не Базарова, а героевъ «Что дѣлать?»—Рахметова или такихъ прекрасныхъ учениковъ радикальнаго пансіона, какъ Лопуховъ или Кирсановъ. Базаровъ же какъ мы сейчасъ увидимъ, многими своими чертами напоминаетъ Рудина: онъ склоненъ къ меланхоліи, къ созерцанію, у него есть барскія замашки: онъ любитъ напр. шампанское, а Никитка Ломовъ (Рахметовъ) ѣстъ что придется и обѣдаетъ кускомъ вѣчины съ черномъ хлѣбомъ. Г-ну Антоновичу нуженъ былъ дѣятель, а Базаровъ все-же держится еще въ сторонѣ отъ настоящей общественной работы. Какъ-же смѣлъ Тургеневъ выставить его представителемъ молодого поколѣнія? Итакъ, слѣдовало доказать, что Базаровъ—ничтожество и пародія.

Заступаться за Базарова я не буду; если читателю нужна его защита, какъ человѣка; пусть онъ перечтетъ блестящія статьи Писарева «Базаровъ», «Реалисты»: лучшаго адвоката, какъ Писаревъ, найти нельзя. Но что-же такое Базаровъ въ самомъ дѣлѣ: герой, вождь, ничтожество?.. Мнѣ кажется, что это натура *двойственная*, что въ сущности и вызвало такія недоразумѣнія. Я не вижу причины сомнѣваться, что самъ Тургеневъ отнесся къ нему совершенно искренне и не только не думалъ унижить его, а, напротивъ, идеализировалъ. «Какъ—писалъ онъ Ф—вой—и вы, вы говорите, что я въ Базаровѣ хотѣлъ представить карикатуру на молодежь. Вы повторяете этотъ... извините за безцеремонность выраженія—безсмысленный упрекъ! Базаровъ—это мое любимое дѣтище... на которое я потратилъ всѣ находящіяся въ моемъ распоряженіи краски... Базаровъ — этотъ умница, этотъ герой,—карикатура!». То-же повторяетъ онъ въ письмѣ къ Салтыкову: «скажите по совѣсти, развѣ кому нибудь можетъ быть обидно сравненіе его съ Базаровымъ? Не сами ли вы замѣчаете, что это самая симпатичная изъ моихъ фигуръ... но я готовъ сознаться, что я не имѣлъ права давать нашей реакціонной сволочи *возможность ухватиться за кличку, за имя («нигилистъ»)*»).

Но все-же, повторяю, Базаровъ—натура двойственная. Вамъ прежде всего бросается въ глаза огромный, скептическій умъ, привыкшій скрывать свои сомнѣнія подъ маской холодной, подчасъ жестокой проиіи. Этихъ своихъ сомнѣній Базарову раскрыть не передъ кѣмъ, не можетъ онъ сообщить ихъ ни младенцу Аркадію, ни своимъ родителямъ; онъ только намекаетъ на нихъ въ разговорахъ съ Одинцовой. Въ его характерѣ есть между прочимъ одна малосимпатичная черта. Онъ смотритъ на людей сверху внизъ и даже рѣдко даетъ себѣ трудъ скрывать свои полупрезрительныя и полупокровительственныя отношенія къ тѣмъ, которые его ненавидятъ, и къ тѣмъ, которые слушаются. Онъ никого не любитъ просто, по-дѣтски, откровенно, онъ не любитъ и самого себя, но крайней мѣрѣ стыдится любви къ себѣ и злится на себя за это.

На всѣхъ окружающихъ онъ дѣйствуетъ прежде всего цѣльностью и рѣзкой опредѣленностью своего міросозерцанія, а между тѣмъ развѣ для него самого все такъ ясно и просто здѣсь на землѣ? Развѣ роковая загадка бытія не тревожитъ его... Тревожитъ, да еще какъ... Однажды въ разговорѣ съ Аркадіемъ у него случайно вырвался стонъ: «Я вотъ лежу здѣсь подъ стогомъ — говорилъ онъ... Узеньковъ мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ, и часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ... А въ этомъ атомѣ, въ этой математической точкѣ кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже! Что за безобразіе! Что за пустяки!»... Согласитесь сами, что передъ вами не ингилистъ, а скептикъ, мученикъ своей острой пронизывающей мысли. Базарову не даетъ покоя сознаніе собственного ничтожества, какъ чловека. «Мои родители — продолжалъ онъ — заняты и не беспокоятся о собственномъ ничтожествѣ, оно имъ не смердитъ... а я... я чувствую только скуку и злость». Разумѣется, не Аркадію понять эти мысли,—да и кто вообще изъ лицъ романа пойметъ ихъ? Всѣ заняты своимъ дѣломъ: одни хозяйничаютъ, другіе либеральничаютъ и, распивая шампанское, проводятъ этимъ самымъ въ жизнь идею женской эмансипаціи. Базаровъ злится за свою полную неприспособленность къ обыденному человѣческому счастью и завидуетъ даже муравью, потому что тотъ не то, что «нашъ братъ, самоломанный»... Поэтому-то къ Базарову столько

тоски, поэтому-то его утрированно-рѣзкія выраженія только прикрытие для святыхъ святыхъ его сердца, куда онъ, какъ гордый человѣкъ, не позволяетъ заглянуть никому изъ непосвященныхъ.

Онъ циникъ,—но сколько искусственного, дѣланнаго въ его цинизмѣ!» «Въ его цинизмѣ—пишетъ Писаревъ—двѣ стороны, и внутренняя, и вѣшняя, цинизмъ мыслей и чувствъ и цинизмъ манеръ и выраженій. Проническое отношеніе къ чувству всякаго рода, къ мечтательности, къ лиризму составляетъ сущность внутреннего цинизма. Грубое выраженіе этого цинизма, безпричинная и безцѣльная рѣзкость въ обращеніи относятся къ вѣшнему цинизму». Все это какъ нельзя болѣе справедливо, особенно если прибавимъ къ этому черту извѣстной душевной надломленности. Базаровъ въ романѣ Тургенева еще на перепутьи, онъ еще пишетъ, борется. Онъ отдался отрицанію, но еще самъ хорошенько не знаетъ, куда оно приведетъ его. *«Въ глубинѣ души онъ признаетъ многое изъ того, что отрицаетъ на словахъ, и можетъ быть именно это признаваемое, это затанцованное спасаетъ его отъ нравственнаго паденія и отъ нравственнаго ничтожества».* (Писаревъ).

Оттого-то, какъ «самоломанный», какъ человѣкъ перепутья, исканія,—Базаровъ жестокъ и сухъ, по крайней мѣрѣ на словахъ. Рудиннымъ и рудинствующимъ онъ угрюмо и рѣзко говорить: «Объ чемъ вы ищете, чего просите отъ жизни? Вамъ, небось, счастья хочется? Да лѣдь мало это! Счастье надо завоевать. Есть силы— берите его. Нѣтъ силъ—ловите, а то и безъ васъ тошно!»

Это рѣзко, мрачно, жестоко, но не отвратительно рѣзко и не отталкивающе рѣзко, потому что, читая романъ, мы на каждой страницѣ видимъ, что Базаровъ страдаетъ, что въ немъ нѣтъ того, на что, вообще говоря, природа не скупится—самодовольства. Онъ изъ пшущихъ и тоскующихъ, но гордость сатанинская, гордость безмѣрно самолюбиваго человѣка не позволяетъ ему дать простора своимъ слезамъ, своимъ жалобамъ. Какъ только слезы подступаютъ къ его горлу—онъ убѣгаетъ, прячется, таясь въ одиночествѣ и тамъ продолжаетъ свою каторжную работу—самоломанія.

Его несчастье—словомъ, нигилизмъ, не столько отсутствіе вѣры, сколько нежеланіе—упрямое, страстное нежеланіе вѣрить въ то, что даетъ человѣку сбыденное счастье и самодовольство. *Этого онъ не можетъ. Онъ слишкомъ уже изломалъ себя, слишкомъ мно-*

го испровергъ всякихъ завѣщанныхъ воспитаніемъ и наслѣдственностью кумировъ, чтобы опять восторгаться бабушкиными сказками. Но что-же дѣлать? Тургеневскій Базаровъ не знаетъ этого, какъ не знали Рудины, Лаврецкіе, Бельтовы, а на иллюзію, на «насъ возвышающій обманъ» — его не поймашь...

Въ немъ въ то-же время есть какое-то органическое сознаніе своей отвѣтственности передъ обществомъ и отвращеніе къ безобразной и скверной обстановкѣ, окружающей его. Онъ постоянно говоритъ о нормальной человѣческой жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не знаетъ, что дѣлать, и не вѣритъ, чтобы можно было что нибудь сдѣлать. Онъ — революціонеръ-пессимистъ, если можно такъ выразиться, измученный своими сомнѣніями и ухватившійся за лягушку, какъ утопающій хватается за соломинку. Натура гордая, непризнающая никакого самообмана. Базаровъ — что-то среднее между Рудинимъ и Печаевымъ.

Двойственность этого типа, особенно въ обстановкѣ того времени, должна была породить, и дѣйствительно породила, массу недоразумѣній. Ну, спросить ли себя Рахметовъ: «зачѣмъ я живу?» Ну, станетъ ли онъ тосковать по поводу міровыхъ вопросовъ, когда у него есть завладѣвшее всѣмъ его сердцемъ практическое дѣло? А вѣдь сила, настоящая, доподлинная сила Базарова проявляется лишь въ сценѣ его смерти. Онъ умираетъ героемъ — этотъ революціонеръ-пессимистъ, этотъ гордый, но надломленный человѣкъ, этотъ невѣрующій проповѣдникъ.

Тургеневъ по самому существу своего таланта, своихъ симпатій не могъ дать цѣльнаго, опредѣленнаго типа. Какъ въ области любви онъ описываетъ обыкновенно лишь ея ростки, ея зарожденіе, такъ и здѣсь онъ остановился на періодѣ *исканія*. Его Базаровъ недоконченъ. Это прекрасно понимаетъ Герценъ: «Худшая услуга, — читаемъ мы, — которую Тургеневъ оказалъ Базарову, состоятъ въ томъ, что, не зная, какъ съ нимъ сладить, онъ его казнилъ тифомъ. Это такая *ultima ratio*, противъ которой никто не устоитъ. Уцѣлѣвъ Базаровъ отъ тифа, онъ навѣрное развился-бы вонъ изъ Базаровщины, по крайней мѣрѣ въ науку, которую онъ любилъ и цѣнилъ въ физиологій и которая не мѣняетъ своихъ пріемовъ, лягушка-ли, или человѣкъ, эмбриологія-ли, или исторія у нея въ передѣлѣ. Наука спасла-бы Базарова, онъ пересталъ-бы глядѣть на людей свысока, съ глубокимъ нескрываемымъ презрѣніемъ. Наука учить насъ смиренію. Она не можетъ ни на что глядѣть свысока, она не знаетъ, что такое *свысока*, она

ничего не презираетъ, никогда не лжетъ для роли и ничего не скрываетъ для кокетства. Она останавливается передъ фактами, какъ изслѣдователь, иногда какъ врагъ, никогда какъ палачъ, еще меньше съ враждебностью и проіей. Наука—*любовь*, какъ сказалъ Спиноза о мысли и вѣдѣніи».

Отсутствіе этой любви, отсутствіе *этры* и дѣлали Базарова подозрительнымъ въ глазахъ тѣхъ, кто думалъ, что въ Россіи уже создались настоящіе, подлинныя дѣятели, герои труда. Оттого-то такъ и набросились на Тургенева, набросились за то, что героемъ дни онъ выставилъ скептика и отрицателя, пожалуй, даже человѣка, слегка барствующаго въ нигилизмѣ своемъ. Тургеневъ угадалъ, прозрѣлъ, но для интересовъ дѣла и эпохи такого угадыванія и прозрѣнія не требовалось. Отсюда—одни изъ самыхъ грустныхъ эпизодовъ исторіи нашей литературы.

Резюме же всей этой исторіи то, что Тургеневъ, обиженный, разочарованный, пожалуй даже ошеломленный, уѣхалъ за границу и в теченіи цѣлыхъ шести лѣтъ почти не брался за перо. Мы видѣли, съ какой грустью говоритъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ объ эпизодѣ съ «Отцами и Дѣтьми»; на самомъ дѣлѣ эта исторія оставила въ его сердцѣ рану, не зажившую в теченіи всей жизни.

* * *

Въ періодѣ меланхоліи и грусти Тургеневъ написалъ прелестную небольшую вещицу «Довольно», которой онъ хотѣлъ распрощаться съ публикой. Мы приведемъ изъ нея нѣсколько строкъ, характеризующихъ тоску нашего великаго романиста.

«Строго и безучастно ведетъ каждого изъ насъ судьба—и только на первыхъ порахъ мы, занятые всякими случайностями, вздоромъ, самими собой, не чувствуемъ ея чуждой руки. Пока можно обманываться и не стыдно лгать—можно жить и не стыдно надѣяться... Истина—неполная истина—о той и помину быть не можетъ, но даже та малость, которая намъ доступна,—замыкаетъ тотчасъ намъ уста, связываетъ намъ руки, сводитъ насъ на «нѣтъ». Тогда одно остается человѣку, чтобы устоять на ногахъ и не разрушиться въ прахъ, не погрязнуть въ тинѣ самообвенія... самопрезрѣнія: спокойно отвернуться отъ всего, сказать: довольно!» «Наша жизнь одна бродячая тѣнь, жалкій актеръ, который рисуетъ и кичится какойнибудь часъ на сценѣ, а тамъ пропадаешь безъ вѣсти;—сказка, рассказанная безумцемъ, полная звуковъ и ярости и не имѣющая никакого смысла.»

«Страшно то, что нѣтъ ничего страшнаго, что самая суть жизни мелка, неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись

этимъ сознаниемъ, отвѣдавъ этой полныи, никакой уже медъ не покажется сладкимъ, и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближенія, безвозвратной преданности—даже оно териеть все свое обаянiе; все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Такъ поздней осенью, въ морозный день, когда все безжизненно и нѣмо въ посядѣлой травѣ, на окраинѣ обнаженного лѣса—стоитъ солнцу выйти на мигъ изъ тумана, пристально взглянуть на застывшую землю—тотчасъ отовсюду поднимаются мошки: онѣ играютъ въ тепломъ его лучѣ, хлопочутъ, толкутся вверхъ, внизъ, вьются другъ около друга... Солнце скроется—мошки валятся слабымъ дождемъ и конецъ ихъ мгновенной жизни».

«Но искусство?... Красота?... Да, это сильные слова... Но не условности искусства смущаютъ меня—его брѣнности, опять таки его брѣнность, его тѣнь и прахъ—вотъ что лишаетъ меня бодрости и вѣры. Искусство въ данный мигъ пожалуй сильнѣе самой природы, потому что въ ней нѣтъ ни симфонiи Бетховена, ни картины Рюис-даля, ни поэмы Гёте—и одни лишь тупые педанты или недобросовѣстные боггуны могутъ еще толковать объ искусствѣ, какъ о подражанiи природѣ; но въ концѣ концовъ природа неотразима; ей сдѣлать нечего и рано или поздно она возьметъ свое, она не терпитъ ничего божескаго, ничего неизмѣннаго... Человѣкъ—дитя природы: но она всеобщая мать, и у ней нѣтъ предпочтенiя: все, что существуетъ въ ея лонѣ, возникло только на счетъ другого и должно въ свое время уступить мѣсто другому—она создаетъ, разрушая, и ей все равно: что она создаетъ, что она разрушаетъ, лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла правъ своихъ, а потому она такъ-же спокойно покрываетъ плесенью божественный ликъ фидасовскаго Аполлона, какъ и простой голышъ, и отдаетъ на сѣдѣнiе презрѣнной моли драгоцѣннѣйшiи строки Софокла»...

Очень вѣроятно, что и личные сердечныя дѣла Тургенева повинны въ интенсивности того-же настроенiя. Едва-ли они шли благополучно, едва-ли приносили какую нибудь отраду великому писателю. Задавалъ ли себѣ читатель когда нибудь вопросъ, почему Тургеневъ, этотъ пѣвецъ любви, всегда описываетъ любовь меланхолическими красками? почему онъ не вѣритъ, такъ-таки прямо не вѣритъ, что любовь можетъ принести человѣку счастье? Полная его биографiя въ будущемъ раскроетъ намъ эту загадку. Но и мы не совсѣмъ минуемъ ея. Мы посмотримъ сейчасъ на Тургенева, какъ на пѣвца любви: своими образами онъ довольно откровенно рассказалъ намъ о тайныхъ мукахъ своего сердца, о своей вѣчной неудовлетворенности...

Заглавiе «Первая любовь» носитъ лишь одинъ изъ рассказовъ Тургенева, но ту-же самую первую любовь вы видите во всемъ, за самыми малыми исключенiями, что вышло изъ подъ пера поэта. Дѣвушка или женщина, не любившая еще (напр. «Фаустъ»), встаетъ

чаютъ мужчину необыденнаго, по крайней мѣрѣ на первый взглядъ. Обыденности Тургеневская героиня боится больше всего, она органически презираетъ пошлость, ей нуженъ герой, который выведетъ-бы ее на новую дорогу, открылъ-бы ей новыя стороны жизни дѣятельности, показалъ-бы ей что такое она сама. Надо поразить ея воображеніе благородными-ли словами, величіемъ-ли возложеннаго на себя подвига, словомъ—героическимъ поступкомъ. И такому человѣку она отдастъ всю свою душу. Любовь загорается въ ней мгновенно, сразу вспыхиваетъ ея сердце, какъ сухая солома отъ упавшей на нее искры. Нѣтъ ни раздумья, ни колебанья и, ужъ разумѣется, нѣтъ и тѣни какого-бы то ни было разсчета. Она все предшествующее время жила неяснымъ для нея самой ожиданіемъ его. Онъ явился наконецъ—объ чемъ-же задумываться? Она оставляетъ все, она отказывается своему формальному жениху, если онъ былъ у нея, разрываетъ свои связи съ семьей, дѣтскими привязанностями и, не спрашивая куда, зачѣмъ, хочетъ идти за нимъ, лишь-бы онъ велъ ее. Она уже не принадлежитъ себѣ, какъ у загнилотизированной, ея воля тонетъ въ волѣ героя.

Таковъ первый моментъ: любовь возникаетъ неожиданно, мгновенно; она неотразима, какъ рокъ; она наполняетъ собой все сердце любящей женщины, она сразу измѣняетъ ее какъ второе крещеніе.

Что-же такое она, эта таинственная сила? Каждая наслажденія, высшее, страстное проявленіе эгоизма человѣческой природы? Тургеневъ показываетъ и такую любовь, но въ такомъ случаѣ его героиня сразу мѣняется и изъ чистаго дѣйствительнаго созданія становится плотояднымъ, хищнымъ существомъ, готовымъ, какъ паукъ, высосать всѣ соки изъ своей жертвы. Такова напр. Марья Николаевна въ «Вѣшнихъ водахъ». Но эта форма любви не характерна для Тургенева; онъ съ особеннымъ наслажденіемъ описываетъ другую — болѣе возвышенную, полную самоотверженія и духовности.

«Любовь не только не кладетъ на его героиню какой нибудь узкой, эгоистической печати, какъ это случается въ романахъ и въ жизни, но какъ бы расширяетъ ея душу, открываетъ ей новыя далекія и свѣтлыя перспективы. Любимый человѣкъ для нея—не просто будущій мужъ или любовникъ, съ которымъ ее ждетъ упоеніе личнаго счастья,—нѣтъ, за нимъ стоитъ что-то большое и свѣтлое (она хорошенько не знаетъ что), призывающее къ дѣ-

тельности, къ жертвѣ; ей такъ сладко мечтать объ этой жертвѣ, хотя-бы пожертвовать пришлось даже жизнью, такъ хотѣлось-бы на весь міръ прозвенѣть какими-то новыми до сихъ поръ нетронутыми еще, но невыразимо звучными струнами души, — прозвенѣть, а тамъ, пожалуй, пусть струны и оборвутся отъ полноты напряженія.»

Тургеневскія героини влюбляются сразу и любятъ только одинъ разъ, и это уже на всю жизнь. Онѣ очевидно изъ племени бѣдныхъ Аздровъ, для которыхъ любовь и смерть были равнозначущи. Съ перваго раза можетъ даже показаться страннымъ, какъ эта чистая, дѣйственная, высокая любовь ведетъ къ гибели и смерти? Но это одинъ изъ любимѣйшихъ мотивовъ Тургеневской музыки. Онѣ сравниваютъ любовь съ стихійными и даже мрачными явлениями природы. Вотъ напр. ея символъ въ «Вешнихъ водахъ»:

«Джемма невольно остановилась на этомъ словѣ. Она не могла продолжать; нѣчто необыкновенное произошло въ это самое мгновеніе. Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачномъ небѣ, налетѣлъ такой порывъ вѣтра, что сама земля, казалось, затреникала подъ ногами, тонкій звѣздный свѣтъ задрожалъ и заструился, самый воздухъ завертѣлся клубомъ. Вихорь не холодный, а теплый, почти знойный ударилъ по деревьямъ, по крышѣ дома, по его стѣнкамъ, по улицѣ; онѣ мгновенно сорвали шляпу съ головы Саннина, взвилъ и разметалъ черныя кудри Джеммы. Шумъ, звонъ и грохотъ длились около минуты... Какъстая громадныхъ птицъ, промчался прочь разыгравшій вихорь... Настала вновь глубокая тишина»...

Такъ зародилась любовь въ сердцѣ Джеммы и Саннина, такъ прошла она...

Другой одинаково мрачный образъ готовитъ васъ къ драмѣ «Фауста»... «Закрывая собою заходившее солнце, вздымалась огромная темноснѣжная туча; видомъ своимъ она представляла подобіе огнедышащей горы; ея верхъ широкимъ снопомъ раскидывался по небу; яркой каймой окружалъ ее зловѣщій багрянецъ и въ одномъ мѣстѣ, на самой срединѣ, пробивалъ насквозь ея тяжелую громаду, какъ-бы вырывался изъ раскаленного жерла... Быть грозѣ»... И была гроза, и погибли въ ней оба влюбленные...

Кому любовь приноситъ счастье? Она убила Асю, Вѣру въ «Фаустѣ», разбила сердце Наташи въ «Рудинѣ», ея непримиримыя противорѣчія заключили Лизу изъ «Дворянскаго Гнѣзда» въ мона

стырь, измучила Джемму изъ «Вешнихъ водъ», Таню—изъ «Дыма», заставила Машу броситься въ воду и утонуть... Любовь Шопенгауэра обманываетъ какъ ловкая сводница, любовь у Тургенева мучаетъ, истязуетъ, губить и даже убиваетъ... Въ одномъ старомъ, глупомъ романсѣ поется: «Что на свѣтѣ прѣжестоко?—Прѣжестока есть любовь»... Тургеневъ часто цитируетъ эти слова и могъ бы приводить ихъ еще чаще...

Кто-же и что виновато въ этомъ губительномъ дѣйствиіи любви? Время, обстановка, обстоятельства или что-то другое, болѣе общее, таинственное и, если не бояться словъ, пожалуй, мистическое? И то, и другое. Обстоятельства погубили Наташу, Асю и Лизу, но Вѣра гибнетъ уже отъ противорѣчія между долгомъ и страстью, Джемма—отъ роковой, стихійной силы... Припомните «Пѣснь торжествующей любви»: здѣсь изъ области образовъ мы вступаемъ уже въ область символа: понять его смыслъ легче, чѣмъ передать словами...

Любовь и гибель, любовь и смерть—его неразлучныя художественныя ассоціаціи. Проанализируйте «Пѣснь торжествующей любви»: здѣсь Тургеневъ высказался цѣлкомъ. Фабула проста. Два юноши, Фабій и Муцій, мгновенно влюбляются въ красавицу Валерію. Валерія симпатизируетъ имъ обоимъ, но не любитъ ни одного и только по совѣту тетки выходитъ замужъ за Фабіа. Она счастлива въ замужествѣ, привыкла къ мужу, вѣрна ему, привязана къ дѣтямъ. Муцій, чтобы не мѣшать себѣ блаженству, уѣзжаетъ въ Индію, гдѣ изучаетъ тайны факировъ. Проходитъ пять лѣтъ, онъ возвращается и, остановившись въ домѣ своего друга Фабіа, видитъ, что не исчезла его старая любовь къ Валеріи. Не буду передавать чуднаго описанія волшебной игры Муція, это одинъ изъ перловъ міровой художественной литературы. Послѣ того какъ звуки пѣсни торжествующей любви замолкли, Валерія, какъ очарованная, вышла въ садъ и отправилась, въ *принадкѣ таинственнаго сна*, на встрѣчу Муцію, который, *также очарованный*, шелъ къ ней. На другой день при новой встрѣчѣ влюбленныхъ Фабій закалываетъ Муція, а очнувшаяся Валерія съ ужасомъ вспоминаетъ о кошмарѣ...

Страсть—это кошмаръ, а любовь—роковая стихійная сила, не счастье, а гибель несетъ она человѣку, въ ней самой заложенъ смертельный ядъ, и горе испытавшему его дѣйствию...

Въ чемъ же счастье?..

«Одно убѣжденіе, — говоритъ Тургеневъ, — вынесъ я изъ опыта

послѣднихъ годовъ: жизнь — не шутка и не забава, жизнь — даже не наслажденіе... жизнь — тяжелый трудъ... Отреченіе — отреченіе постоянное — вотъ ея тайный смыслъ, ея разгадка; неисполненіе любимыхъ мыслей и мечтаній, какъ бы они возвышены ни были, а исполненіе долга, вотъ о чемъ слѣдуетъ заботиться человѣку.

«Не наложивъ на себя цѣпей желѣзныхъ, цѣпей долга, не можетъ онъ дойти, не падая, до конца своего поприща, а въ молодости мы думаемъ: чѣмъ свободнѣе, тѣмъ лучше, тѣмъ дальше уйдешь... Молодости разволнительно такъ думать, но стыдно тѣшиться обманомъ, какъ суровое лицо истины глянуло наконецъ тебѣ въ глаза»...

Долгъ выше любви, въ немъ разгадка жизни, а не въ страсти. Долгъ, какъ тѣнь умершей матери, встаетъ съ распростертыми руками передъ Вѣрой, готовый сбросить съ себя его желѣзные цѣпи, онъ затворяетъ за Лизой тяжелыя монастырскія ворота и заиритываетъ подъ клубокъ вольныя мысли, любовныя мечтанія...

V.

Послѣдніе годы. — Міровая слава.

Въ 1864 г. Віардо со всей семьей рѣшилась оставить Парижъ, и Тургеневъ конечно не пожелалъ разстаться съ ними. Послѣ прощальнаго представленія, которое м-ме Віардо дала въ Théâtre Lyrique, всѣ они уѣхали изъ столицы, чтобы поселиться отпущивъ въ Thiergartenthalъ, близъ Баденъ-Бадена.

«Кто не бывалъ въ этомъ раю долинъ и лѣсовъ, на берегу Ооса, — восторженно восклицаетъ Ничъ въ періодъ его процвѣтанія, предъ франко-прусской войной, — тотъ не можетъ вѣрно представить себѣ привлекательности этой мѣстности, соединившей тогда весьма разнообразные общественные элементы. Любители всевозможныхъ развлеченій, разнообразныхъ туалетовъ и нарядовъ могли находить не мало удовольствія въ лицезрѣніи этой, составленной изъ представителей всѣхъ націй міра, маскарадной толпы, собиравшейся на лѣтній сезонъ въ Баденъ-Баденъ и появившейся всюду, какъ въ конферанс-гаузѣ, такъ и въ величественныхъ руинахъ замка Иффенгейма. Весь шумъ и блескъ этого своеобразнаго мірка не въ

состоянии былъ нарушить тишину Лейвальдскихъ долинъ, выходящихъ прямо на Лихтенбургскую аллею, и лѣсистыхъ высотъ, оняняющихъ своимъ благоуханіемъ. Здѣсь жили преимущественно люди, чуждавшіеся шумныхъ удовольствій, но тѣмъ не менѣе представлявшие собою избранный кругъ баденскаго общества.

Центръ этого избраннаго баденскаго кружка составлялъ домъ Віардо. Тамъ, начиная съ 1864 г., составлялись по воскресеньямъ столько разъ описанныя музыкальныя утреннія собранія. Самыя высокопоставленныя лица изъ посѣтителей курорта считали за особенную честь быть приглашенными на эти собранія... Семейство Віардо и Тургеневъ настолько полюбили эту мѣстность, что не покидали ея даже зимою; пѣздка лишь, и то только въ случаѣ крайней необходимости, Ив. Серг. рѣшался на поѣздку въ Россію. Поѣздку онъ всякій разъ откладывалъ, насколько возможно, но никакое препятствіе не могло помѣшать ему возвратиться къ 18 іюля—дню рожденія Полны Віардо. Съ полнымъ довольствомъ, замѣтившимъ прежнее его меланхолическое настроеніе, Тургеневъ наслаждался жизнью въ Баденѣ-Баденѣ. Въ 1865 г., рѣшившись до конца дней не разставаться съ Баденомъ, онъ купилъ большой участокъ земли, прилегающій къ парку виллы Віардо, и построилъ себѣ большую виллу въ видѣ замка, превративъ всю окружающую мѣстность въ садъ.

«Годы, — проведенныя Тургеневымъ въ Баденѣ, — говорить Ничъ, были плодотворны».

«Я, находясь тутъ же, какъ бы присутствовалъ при его поэтическомъ творествѣ. Нѣкоторые изъ его повѣстей и фантастическихъ произведеній, написанныхъ въ Баденѣ, я прослѣдилъ отъ первоначальнаго замысла ихъ до окончательной отдѣлки; я видѣлъ, какъ они мало-по-малу выдѣлялись изъ мрака небытія. Его способъ концепціи былъ такъ-же своеобразенъ, какъ и вся его натура. Онъ обладалъ счастливымъ удѣломъ, выпадающимъ на долю весьма немногихъ—работать не изъ за куска хлѣба. Онъ былъ по природѣ лѣнивъ: въ его крови глубоко жила «обломовщина». Онъ брался за перо почти всегда подъ вліяніемъ внутренней потребности творчества, независимой отъ его воли. Втеченіи цѣлыхъ дней и недѣль онъ могъ отстранять отъ себя это побужденіе, но совершенно отъ него отдѣлаться онъ былъ не въ силахъ. Образы, вызываемые личными воспоминаніями, картины, сохранившіяся въ его памяти, возникали въ его фантазіи, неизвѣстно почему и откуда, и все болѣе осаждали его и заставляли его рисовать—какими они ему представляются, и записывать, что они говорятъ ему и между собою. Часто слышалъ я, какъ онъ во время этихъ рабочихъ часовъ, подъ вліяніемъ непреодолимой потребности, запирался въ своей комнатѣ и, подобно льву въ клеткѣ, шагаль и стоналъ тамъ. Въ эти дни, еще за утреннимъ чаемъ, мы слышали отъ него трагическое восклицаніе: «охъ, сегодня я долженъ работать!» Разъ,

уѣхавши за работу, онъ даже физически переживалъ все то, о чемъ писалъ. Когда онъ однажды писалъ небольшой, безотрадный романъ «Несчастная» изъ воспоминаній его студенческихъ лѣтъ. сюжетъ котораго развивался почти помимо его воли, при описаніи особенно запечатлѣвшейся въ его памяти фигуры покинутой дѣвушки, стоящей у окна, онъ былъ втеченіи цѣлаго дня боленъ совершенно. «Что съ вами, Тургеневъ? Что случилось?»—«Ахъ, она должна была отравиться... Ея тѣло выставлено въ открытомъ гробу въ церкви и, какъ это принято у насъ въ Россіи, каждый родственникъ долженъ цѣловать мертвую. Я разъ присутствовалъ при такомъ прощаніи, а сегодня долженъ былъ описать это, и вотъ у меня весь день испорченъ...»

...«Домъ г-жи Вiардо въ Баденѣ считался въ тѣ годы какъ бы высшей школой нѣмца, куда являлись юные таланты изъ всѣхъ странъ, чтобы поучиться у знаменитой артистки, у которой умѣнье преподавать равнялось ся творческому генію. Особенно старалась она доставить молодымъ женщинамъ разныхъ національностей случаи попробовать себя въ маленькихъ легкихъ драматическихъ партіяхъ. Для этого однако нужно было найти оперетки, въ которыхъ всѣ роли, за исключеніемъ одного или двухъ лицъ, могли быть исполнены нѣмцами. Съ этой цѣлью Тургеневъ написалъ три веселыхъ фантастическихъ оперетки, драматизированныя сказки, исполненные граніознаго юмора и тонкой прелести: «Le dernier des sorciers»—«L'Ogre» и «Trop de femmes». Гессожа Вiардо написала къ нимъ музыку и иногда принимала на себя исполненіе роли влюбленнаго принца, писанной для альты; когда случалось, что въ числѣ друзей Вiардо не доставало баритона, Тургеневъ не считалъ для себя униженіемъ играть роль стараго колдуна, паши или людобѣда, котораго дразнили и мучили или прелестные эльфы, или слишкомъ многочисленныя жены его гарема и, не смотря на его величину и силу, побѣждали. Большая зала его замка, первый этажъ котораго онъ занималъ самъ, а второй—я, легко превращалась въ сцену. Если г-жа Вiардо не участвовала сама, она исполняла роль оркестра и капельмейстера, сидя за роялемъ. Эти маленькія представленія давались иногда въ присутствіи такой отборной публики, которую рѣдко можно встрѣтить въ частныхъ домахъ. Король Вилгельмъ и королева Августа сидѣли тамъ въ первыхъ рядахъ креселъ, окруженные избранной баденской публикой, которая по воскресеньямъ, во время музыкальныхъ утръ, наполняла органную залу и садъ. Королевская чета въ продолженіи цѣлыхъ десятковъ лѣтъ привыкла видѣть въ хозяйкѣ дома не только свѣтскую даму, но и выдающуюся артистку, и нерѣдко случалось, что, по окончаніи представленія, ихъ величества оставались на чай, участвуя въ безперемонной, фамилиарной бесѣдѣ друзей дома.»

Здѣсь въ Баденъ-Баденѣ Тургеневъ написалъ и свой «Дымъ». Романъ этотъ критика извѣстнаго лагеря постоянно упрекала за *тенденціозность* и за то, что Тургеневъ очень неслестно отзывался здѣсь о своихъ соотечественникахъ. На самомъ дѣлѣ романъ исполненъ ѣдкости и горечи по отношенію не только къ

высшимъ классамъ Россіи, но и ко всѣмъ современнымъ русскимъ стремленіямъ, попыткамъ реформъ все равно, какъ и къ всему специфически «русскому». Устами Потугина говоритъ самъ Тургеневъ, говоритъ рѣзко, иногда жестоко, но всегда въ большей или меньшей степени справедливо. «Удивляюсь я, милостивый государь, своимъ соотечественникамъ. Всѣ унываютъ, всѣ повѣсивши носъ ходятъ, п въ то-же время всѣ исполнены надеждой, и чуть что такъ на стѣну и лѣзутъ. Вотъ хотя-бы славянофилы, къ которымъ господинъ Губаревъ себя причисляетъ: прекраснѣйшіе люди, а та-же смѣсъ отчаянія и задора, тоже живутъ буквой «буки». Все, молъ, будетъ—будетъ. Въ наличности ничего нѣтъ, и Русь въ цѣлые десять вѣковъ ничего своего не выработала, ни въ управленіи, ни въ судѣ, ни въ наукѣ, ни въ искусствѣ, ни даже въ ремеслѣ... Но стойте, потерпите: все будетъ. А почему будетъ, позвольте полюбопытствовать? А потому, молъ, что мы образованные люди—дрянь; но народъ... о, это великій народъ! Видите этотъ армякъ! вотъ откуда все поидетъ. Всѣ другіе идолы разрушены; будемъ-же вѣрить въ армякъ!.. Право, если-бы я былъ живописцемъ, вотъ бы я какую картину написалъ: образованный человѣкъ стоитъ передъ мужикомъ и кланяется ему низко: «вылечи, молъ, меня, батюшка-мужичокъ, я пропадаю отъ болѣсти»; а мужикъ въ свою очередь низко кланяется образованному человѣку: «научи, молъ, меня, батюшка-баринъ, я пропадаю отъ темноты». Ну, и разумѣется оба ни съ мѣста»... Что-же дѣлать? Для Тургенева только одинъ отвѣтъ: «дѣйствительно смириться—не на однихъ словахъ—да признать у старшихъ братьевъ, что они придумали лучше насъ и прежде насъ». Старшіе же братья, разумѣется,—европейцы.

Не мало времени тратилъ Тургеневъ и на свои литературныя воспоминанія. Онъ ихъ началъ почти въ тотъ день, когда ему исполнилось 50 лѣтъ (1868 г.), и закончилъ довольно быстро. Онъ какъ бы хотѣлъ подвести итогъ своей литературной дѣятельности, такъ какъ не рассчитывалъ уже создать что нибудь крупное.

«Я очень хорошо понимаю,—писалъ онъ Полонскому, — что мое постоянное пребываніе за-границей вредитъ моей литературной дѣятельности, да такъ вредитъ, что, пожалуй, и совсѣмъ ее уничтожить: *но этого изменить нельзя*. Такъ какъ я втѣченіи моей сочинительской карьеры никогда не отиравался отъ *идеи*, а всегда отъ образовъ (даже Потугинъ—«Дымъ»—имѣетъ

въ основаніи извѣстный образъ),—то, при болѣе и болѣе оказывающемся недостаткѣ *образовъ*, музѣ моей не съ чего будетъ писать свои картины. Тогда я—кисть подѣ замокъ, и буду смотрѣть, какъ другіе подвизаются».

Все время франко-прусской кампаніи Віардо и Тургеневъ провели въ Лондонѣ, а затѣмъ, послѣ коммуны, вернулись въ Парижъ и окончательно поселились въ немъ. Тургеневъ жилъ въ домѣ Віардо на улицѣ Дуэ, занимая весь второй этажъ. Нѣсколько лѣтъ спустя Тургеневъ и Віардо купили прелестный паркъ съ виллой «Les Irènes», который тянется отъ края шоссе черезъ склонъ высотъ Марли до края лѣса, гдѣ онъ незамѣтно поднимается въ гору. Тамъ, въ недалекомъ разстояніи отъ жилища семьи Віардо, Тургеневъ построилъ себѣ дачу вродѣ коттеджа. Въ этомъ удобномъ помѣщеніи, убранномъ при всей его простотѣ съ большимъ вкусомъ, онъ проводилъ лѣтніе мѣсяцы послѣднихъ лѣтъ жизни, здѣсь же онъ захворалъ разрушительной болѣзью—ракомъ спинного мозга.

Среди парижскихъ литераторовъ Тургеневъ былъ своимъ человекомъ. Особенно близко сошелся съ Просперомъ Меримэ, а послѣ его смерти—съ Густавомъ Флоберомъ, знаменитымъ авторомъ «М-ме Бовари», «Саламбо», «Сантиментальнаго восписанія» и т. д. Въ знакъ своей дружбы Тургеневъ перевелъ на русскій языкъ два небольшихъ произведенія Флобера, «Иродіаду» и «Искушеніе Св. Антонія».

Въ воспоминаніяхъ Додэ находимъ любопытную картину времяпрепровожденія того кружка, къ которому принадлежалъ Тургеневъ:

«Этого было лѣтъ десять, двѣнадцать тому назадъ, у Густава Флобера, въ улицѣ Мурильо, въ небольшой уютной квартирѣ, убранной въ алжирскомъ вкусѣ и выходившей прямо въ паркъ Монсо,—убѣжище довольства и хорошаго тона; густыя массы зелени заслонили окна, словно зеленныя шторы.

Мы имѣли обыкновеніе встрѣчаться тамъ каждое воскресенье, неизмѣнно все одни и тѣ же. Въ нашей интимности была нѣкоторая изысканность, двери были закрыты для постороннихъ, докучливыхъ посѣтителей.

Въ одно изъ воскресеній, когда я, по обыкновенію, зашелъ къ старому учителю, Флоберъ остановилъ меня на порогѣ.

— Вы не знаете Тургенева? Нѣ, не дожидаясь отвѣта, онъ вникнулъ меня въ маленькую гостиную.

Тамъ на диванѣ лежала, растянувшись, высокая, статная фигура славянскаго типа съ бѣлой бородой; увидѣвъ меня, она поднялась во весь ростъ и вскинула на меня пару огромныхъ, удивленныхъ глазъ.

Мы, французы, живемъ въ странномъ невѣдѣніи по части всего, касающагося иностранной литературы. У насъ національный умъ также склоненъ сидѣть дома, какъ и наше тѣло; мы питаемъ отвращеніе къ путешествіямъ и мало читаемъ чужеземныхъ произведеній.

Но тутъ случилось, что я зналъ и хорошо зналъ Тургенева. Я съ глубокимъ восхищеніемъ прочелъ «Записки Охотника», и эта книга великаго романиста, на которую я попалъ случайно, привела меня къ близкому знакомству съ другими его сочиненіями. Прежде чѣмъ встрѣтиться, мы уже были соединены нашей общей любовью къ природѣ въ ея великихъ проявленіяхъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что мы оба ощущали ее одинаковымъ образомъ.

Я весело рассказалъ ему все это и выразилъ ему мое восхищеніе съ свойственною моею южной натурѣ пылкостью; я сказалъ ему, что читалъ его тамъ, въ моихъ дѣсахъ, и впечатлѣнія отъ ландшафта и отъ чтенія до того перемѣнились, что одинъ маленькій рассказъ его такъ и остался въ моей памяти неразлучно съ небольшою полянкой розоватаго вереска, слегка поблекшаго подъ вліяніемъ осени.

Тургеневъ не могъ придти въ себя отъ удивленія.

— Правда, вы читали меня?

Онъ сообщилъ мнѣ разныя подробности о слабомъ сбытѣ его книгъ въ Парижѣ, о неизвѣстности его имени во Франціи. Издатель Гетцель издавалъ его просто изъ милости. Его популярность не перешла за предѣлы его отечества. Ему больно, что онъ остается неизвѣстнымъ въ странѣ, столь дорогой его сердцу. Онъ признавался въ своихъ разочарованіяхъ съ грустью, но безъ раздраженія; напротивъ, наши бѣдствія въ 1870 г. еще сильнѣе привязали его къ Франціи. На будущее время онъ не намѣренъ покидать ея.»

Послѣ этой встрѣчи Додэ видѣлся съ Тургеневымъ каждое воскресенье на дружескихъ литературныхъ обѣдахъ.

«Нельзя себѣ представить, — продолжаетъ Додэ, — ничего очаровательнѣе этихъ дружескихъ пирушекъ, когда разговоръ льется непринужденно, духовныя силы все возбуждены, сами собесѣдники не знаютъ никакихъ стѣсненій. Какъ люди опытные, все мы были просвѣщенные филологи. Разумѣется, сколько темпераментовъ, столько различныхъ вкусовъ, сколько провинцій, столько и разныхъ блюдъ. Флоберъ заказывалъ себѣ нормандскія едобныя лепешки, раунскія утки à l'estouffade. Гонкуръ доводилъ утонченность и привередничество до того, что требовалъ пшеничнаго варенья! Я набрасывался на свою bouillabaisse и на ракушки, а Тургеневъ угощался шкрой.

Мы садились за обѣдъ въ семь часовъ вечера, а въ два ночи еще не вставали съ мѣстъ. Флоберъ и Зола обѣдали безъ сюртуковъ; Тургеневъ разваливался на диванѣ; мы удаляли лакеевъ — наипрасная предосторожность, такъ какъ могучій голосъ Флобера раздавался по всему дому, — и начинали говорить о литературѣ. У когонибудь изъ насъ всегда была только что вышедшая книга, то «Искушеніе Св. Антонія» и «Три сказки» Флобера, «Fille Elisa» Гонкура, «Аббатъ Мурэ» и «Assommoir» Зола. Тургеневъ широкъ

«Живые монцы» и «Новь», и—«Фромона», «Джэка», «Набаба». Мы толковали другъ съ другомъ по душѣ, открыто, безъ лести, безъ взаимныхъ восхищеній.

Покончивъ съ книгами и новостями дня, наша бесѣда переходила на болѣе обширное поле; мы возвращались къ тѣмъ темамъ, къ тѣмъ идеямъ, которыя всегда перазлучны съ нами; говорили о любви, о смерти, въ особенности о смерти.

Каждый вставлялъ свое слово. Одинъ лишь русскій на диванѣ молчалъ.

— А вы что же, Тургеневъ?

— А я! Я не думаю о смерти. У насъ въ Россіи никто не задумывается надъ призракомъ смерти; она остается далекой, исчезаетъ... въ славянскомъ туманѣ.»

Кромѣ парижскаго литературнаго міра, у Тургенева были близкія связи и съ лондонскими писателями. Англичане высоко цѣнили его талантъ. Я уже упоминалъ какъ-то, что Карлейль называлъ «Муму» лучшимъ изъ когда-либо прочитанныхъ имъ разсказовъ. Критикъ Рольстонъ и поэтъ Томссонъ были личными друзьями Тургенева.

«Въ послѣдній разъ,—разсказываетъ первый,—когда Тургеневъ былъ въ Англіи, предполагалось устроить въ честь его банкетъ и соединить на немъ всѣхъ многочисленныхъ англійскихъ почитателей его. Всѣ, кому ни говорили объ этомъ, поэты, романисты, художники или музыканты, всѣ съ радостью привѣтствовали эту мысль. Но этому воспротивился самъ Тургеневъ, написавъ изъ Парижа: «Нѣтъ, дорогой другъ, нѣтъ никакихъ основаній, почему англичане должны были бы оказать мнѣ такую великую честь. Я недостойнъ ея, и мои враги скажутъ, что я интриговалъ для какойнибудь цѣли». Я цитирую его слова по памяти, но гарантирую, что смыслъ ихъ былъ именно таковъ. Однако хотя большой банкетъ не состоялся, небольшое собраніе въ честь его все-таки произошло въ Лондонѣ, въ октябрѣ 1881 года.»

Въ знакъ особеннаго уваженія англичане преподнесли Тургеневу дипломъ на званіе доктора Оксфордскаго университета.

Изрѣдка Тургеневъ наѣзжалъ въ Россію, между прочимъ и въ Спасское. Изъ этихъ поѣздокъ онъ не выносилъ уже ничего обиднаго, непріятнаго. Онъ постоянно убѣждался, что публика не только примирилась съ нимъ, но и цѣнитъ его не меньше, чѣмъ въ 50-е годы. При его болѣзненной мнительности и неувѣренности въ себѣ онъ пуждался въ оваціяхъ и проявленіяхъ восторга. Всѣмъ этимъ онъ могъ насладиться вдоволь. Въ Москвѣ, при одномъ появленіи его въ залѣ въ засѣданіи Общества любителей русской словесности, поднялся буквально громъ рукоплесканій, не умолкавшихъ нѣсколько минутъ; такъ-же восторженно принимали его и въ Петербургѣ. При открытіи памятника Пушкину онъ былъ избранъ почетнымъ членомъ Московскаго университета; по

всюду ходили за нимъ толпы восторженныхъ почитателей, и однажды дѣло дошло до того, что студенты выпрягли лошадей изъ его экипажа и повезли на себѣ. Всѣ эти дипломы, оваціи, восторги доказываютъ, что слава Тургенева была всемірною. И это какъ нельзя болѣе справедливо. Надо посмотрѣть на безчисленные изданія «Зап. Охотника», вышедшія хотя-бы только въ Америкѣ, чтобы убѣдиться въ этомъ. Американцы зачитывались Тургеневымъ и его корреспонденты въ «Новомъ Свѣтѣ» были безчисленны...

Самый торжественный пріѣздъ Тургенева въ Россію совпадаетъ съ историческимъ днемъ для русской литературы—открытіемъ памятника Пушкину (іюнь 1880). На празднество собрались всѣ видные представители литературы и журналистики, но общее вниманіе сосредоточивалось на двухъ герояхъ художественнаго творчества—Тургеневѣ и Достоевскомъ. Оба они произнесли свои знаменитыя рѣчи.

«Въ поэзіи—сказалъ въ заключеніи Тургеневъ—освободительная, ибо возвышающая и нравственная сила. Будемъ также надѣяться, что въ недалекомъ времени даже сыновьямъ нашего простого народа, который теперь не читаетъ нашего поэта, станетъ понятно, что значить это имя—Пушкинъ»...

Эти слова и эти пожеланія какъ нельзя лучше могутъ быть отнесены и къ самому Тургеневу.

Литературная дѣятельность Тургенева за этотъ послѣдній періодъ его жизни была плодотворна. Въ 1874 году появился романъ «Новь», въ 1877—1880 нѣсколько рассказовъ, въ 1881 г.—«Нѣснь Торжествующей любви» и «Отчаянный», въ 1882 году «Стихотворенія въ прозѣ» и «Клара» Милчъ», въ 1883 г. наканунѣ смерти Тургеневъ продиктовалъ «Пожаръ на морѣ».

Многое изъ перечисленнаго здѣсь заслуживаетъ серьезнаго вниманія и не дождалось еще настоящей оцѣнки, какъ напр.: «Нѣснь», «Отчаянный», «Стихотворенія въ прозѣ». Нельзя сказать того-же самаго о романѣ «Новь», который не удался Тургеневу. По письмамъ его видно, что главной центральной фигурой долженъ былъ выйти Соломинъ, а между тѣмъ на первомъ планѣ оказался Неждановъ, этотъ Рудинъ, поэтъ и мечтатель, неизвѣстно для чего отправившійся въ народъ... Совсѣмъ другіе люди ходили въ народъ въ 70-хъ годахъ, и романъ Тургенева исторически несправедливъ. Неждановъ могъ-бы подойти къ обстановкѣ современной интеллигентной колоніи, но тогда этихъ колоній еще не было. *Тургеневъ остался вѣренъ себѣ: центральная мужская фигура его произведенія страдаетъ безволіемъ и меланхоличностью...* Отодвѣ-

нута на второй планъ личность Соломина гораздо интереснѣе, но изображеніе дѣтелей было не въ талантѣ Тургенева: прямолінейная психологія претила ему.

На многихъ страницахъ романа замѣтно старческое утомленіе. Да, старость надвигалась и давала себя чувствовать. Тургеневъ видѣлъ это и старался отшучиваться. «Послѣ сорока лѣтъ—писать онъ напр. Суворину—жить на свѣтѣ точно не советую весело, особенно втеченіи первыхъ десяти лѣтъ... Ну, а потомъ подѣ влияніемъ холода, вѣющаго отъ могилы, человекъ успокаивается. Мнѣ одна даже петербургская пѣмка-старуха бывало говорила: «подѣ старость жить подобна есть мухѣ: пренепріятный насѣкомъ... Надо терпѣть!»... Именно, «надо терпѣть»...

Но минуты унынія, страха передѣ могилой находили все чаще.

«Полночь—писалъ онъ напр. въ своемъ дневникѣ—спужу я опять за своимъ столомъ... а у меня на душѣ темнѣе темной ночи... Могила словно торонится проглотить меня: какъ мигъ какой пролетаетъ день пустой, безцѣльный, безцвѣтный. Смотришь: опять валюсь въ постель... Ни права жить, ни охоты вѣтъ; дѣлать больше нечего, нечего... ожидать, нечего даже желать»... Напомню также прелестное стихотвореніе въ прозѣ «Старикъ».

«Настали—писать Тургеневъ—темные, тяжелые дни, холодъ и мракъ старости. Все, что ты любилъ, чему отдавался безвозвратно гибнетъ и разрушается. Подѣ гору пошла дорога. Что же дѣлать? Скорбѣть, горевать? Ни тебѣ, ни другимъ ты этимъ не поможешь... На засыхающемъ, покоробленномъ деревѣ листь мельче и рѣже, но зелень ея та-же. Сожмись и ты, уйдя въ себя, въ свои воспоминанія и тамъ, глубоко-глубоко, на самомъ днѣ сосредоточенной души твоя прежняя, тебѣ одному доступная жизнь блеснетъ передѣ тобою своею пахучею, все еще свѣжей зеленью и лаской, и силой весны... Но будь остороженъ... Не гляди впередъ, бѣдный старикъ!»

Но—странно—послѣ появленія «Нови» талантѣ Тургенева въ «Пѣсни торжествующей любви», «Отчаянномъ» и «Стихотвореніяхъ въ прозѣ» опять расправилъ свои могучія крылья и въ послѣдній уже разъ. Эгюдъ «Отчаянный» былъ оцѣненъ по достоинству лишь Тэнномъ, знаменитымъ историкомъ, котораго онъ поразилъ «удивительнымъ изображеніемъ русскаго этнографическаго тина». Сколько отчаянныхъ знаетъ хотя-бы только исторія нашей литературы: Полежаевъ, Левитовъ, Рѣшетиновъ, Помяловскій, П. Успенскій—все эти таланты рано погибли отъ водки, къ которой ихъ привела «тоска какая-то», какая-то страсть самонистрбленія—развѣ не сродни они тургеневскому «Отчаянному»...

Въ «Стихотвореніяхъ въ прозѣ» полностью выразилась натура Тургенева, склонная къ меланхоліи, и здѣсь-же онъ вер-

нулся къ тѣмъ чувствамъ, которыя вдохновляли его при созданіи «Записокъ Охотника». Я приведу нѣсколько отрывковъ, нуждающихся въ комментаріяхъ.

«Вершина Альпъ. Цѣпь крутыхъ уступовъ. Самая сердцевина горъ. Надъ горами блѣднозеленое, свѣтлое, нѣмое небо. Сильный, жестокий морозъ; твердый некристальный снѣгъ; изъ подъ снѣгу торчать стужовыя глыбы обледѣнѣлыхъ, обвѣтренныхъ скалъ. Двѣ громады, два великана вздымаются по обѣимъ сторонамъ небосклона: Юнгфрау и Финстерааргорнъ. И говоритъ Юнгфрау со сѣду: — «Что скажешь новаго? Тебѣ виднѣй. — Что тамъ внизу?» Проходитъ нѣсколько тысячъ лѣтъ—одна минута. И грохочетъ въ отвѣтъ Финстерааргорнъ: «Сплошная облака застилаютъ землю... Погоди!» Проходятъ еще тысячелѣтія—одна минута.—«Ну, а теперь?»—спрашиваетъ Юнгфрау.—«Теперь вижу; тамъ внизу все то-же, пестро, мелко. Воды свиѣютъ; чернѣютъ лѣса; сѣрѣютъ груди скученныхъ камней... Около нихъ все еще копошатся козявки, знаешь,—тѣ душонки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня».—«Люди?»—«Да, люди». Проходитъ тысяча лѣтъ—одна минута.—«Ну, а теперь?» спрашиваетъ Юнгфрау... «Около насъ волнистыя словно прочистилось»,—отвѣчаетъ Финстерааргорнъ;—ну, а тамъ вдаль есть еще пятна и шевелится что-то.»—«А теперь?»—спрашиваетъ Юнгфрау спустя другія тысячу лѣтъ—одну минуту.—«Теперь хорошо, отвѣчаетъ Финстерааргорнъ,—опрятно стало вездѣ, бѣло совсѣмъ, куда ни глянь... Вездѣ наши снѣгъ, ровный снѣгъ и ледъ... застыло все. Хорошо теперь, спокойно.»—«Хорошо, промолвила Юнгфрау.—Однако довольно мы поболтали съ тобою, старикъ. Пора вздремнуть».—«Пора. Снять громадные горы; снить зеленое, свѣтлое небо надъ навсегда замолкнувшей землей»...

Присуща была Тургеневу эта глубокая меланхолія, это сознаніе тѣнистости и суеты всего... Но вотъ и свѣтлая, яркая точка въ «Стихотвореніяхъ»:

«Когда при мнѣ превознесать богача Ротшильда, который изъ громадныхъ своихъ доходовъ удѣлялъ цѣлыя тысячи на воспитаніе дѣтей, на леченіе больныхъ, на призваніе старыхъ—я хвалю и умиляюсь. Но и хвалю, и умиляюсь, не могу я не вспомнить объ одномъ убогомъ крестьянскомъ семействѣ, принявшемъ сироту-племянницу въ свой разоренный домикъ.—«Возьмемъ мы Катюку»,—говорила баба,—последніе наши гроши на нее пойдутъ,—не на что будетъ соли купить, похлебку посолить.—А мы ее... и несоленую»—отвѣтилъ мужикъ, ей мужъ. Далекъ Ротшильдъ до этого мужика».

Лѣто 1881 года Тургеневъ провелъ у себя въ Спасскомъ, гдѣ гостило семейство Я. П. Полонскаго и артистка М. Г. Савина. Здѣсь онъ отдохнулъ и поправился. Ему жилось легко и приятно среди друзей, любившихъ и почитавшихъ его,—ему было видѣть себя окруженнымъ дѣтьми, хотя-бы и чужими. Болѣзнь уgomилась, заботы особенныя не было. Онъ много гулялъ, охотно разговаривалъ. Уѣхалъ-же онъ осенью за-границу,

чтобы больше не возвращаться оттуда, хотя и мечталось ему еще разъ повидать свою бѣдную, по дорожную родину.

Онъ умеръ 23-го августа 1883 года въ Вуживальѣ, измученный болѣзнию, послѣ тяжелой и мучительной агоніи, въ два часа дня, умеръ сравнительно рано, всего 65-ти лѣтъ отъ роду. Почти до послѣдней минуты не забывалъ онъ интересовъ излюбленной литературы. Дрожащими руками написалъ онъ свое предсмертное письмо къ Л. Толстому *) и исправлялъ свои сочиненія, подготавливая новое изданіе. Его послѣднія слова были обращены къ окружающему его семейству Віардо: «Влиже, ближе ко мнѣ, и пусть я всѣхъ васъ чувствую около себя... Настала минута прощаться... Простите!...»

Вѣсть о кончинѣ Тургенева съ быстротой молніи разнеслась повсюду. Русскія газеты вышли въ траурныхъ рамкахъ, всѣ лучшіе органы иностранной печати помѣстили некрологи великаго писателя. А Россія въ то-же время готовила своему излюбленному поэту неслыханныя похороны... 27-го сентября 1883 года гробъ съ прахомъ Тургенева прибылъ изъ Парижа на варшавскій вокзалъ и былъ встрѣченъ массою народа. Болѣе 180-ти депутацій принимали участіе въ печальной похоронной процессіи, надъ могилой произнесены были безчисленныя рѣчи... Видя такую помпу, простой народъ думалъ, что хоронили большого генерала, и на самомъ дѣлѣ на траурной колесницѣ лежало тѣло большого генерала русской литературы. Странныя, но отрадныя мысли должны были придти въ голову историка, наблюдавшаго торжественное зрѣлище. Онъ могъ вспомнить при этомъ, какъ тѣло Пушкина, меньше чѣмъ за пятьдесятъ лѣтъ до того, въ темную осеннюю ночь, въ простомъ гробу, прикрытомъ войлокомъ, съ жандармомъ на облучкѣ было тайно вывезено изъ Петербурга—чтобы публика не проявила своей симпатіи умершему поэту; могъ

*) Вотъ это письмо: «Милый и дорогой Левъ Николаевичъ, долго я вамъ не писалъ, ибо былъ и есмь, говорю прямо, на смертномъ одрѣ. Выздоровѣть я не могу и думать объ этомъ нечего. Пишу же я вамъ собственно, чтобы сказать вамъ, какъ я былъ радъ быть вашимъ современникомъ и чтобы выразить вамъ мою послѣднюю искреннюю просьбу. Другъ мой, вернитесь къ литературной дѣятельности! Ведь этотъ даръ вашъ оттуда, откуда все другое. Ахъ, какъ я былъ бы счастливъ, еслибы могъ подумать, что моя просьба такъ на васъ подѣйствуетъ! Я-же человѣкъ конченный, доктора даже не знаютъ, какъ назвать мой недугъ: «neuralgie stomacale gouteuse». Ни ходигъ, ни ѣсть, ни спать... да что! Скучно даже повторять все это. Другъ мой, великій писатель земли русской, —внемлите моей просьбѣ... Дайте мнѣ знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще разъ крѣпко-крѣпко обнять васъ, вашу жену, всѣхъ вашихъ. Не могу больше. Усталъ!...»

припомнить, какъ на похоронахъ Гоголя въ Москвѣ было запрещено присутствовать официальнымъ лицамъ и съ какимъ негодованіемъ была отброшена мысль о какихъ-то тамъ депутаціяхъ. Русское общество молчало, когда умерли Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь... На протыхъ дорогахъ, чуть не тайкомъ, хоронили Бѣлинскаго, и нѣсколько человѣкъ, сопровождавшіе его до Волкова кладбища, робко оглядывались по сторонамъ и начинали торопливо шагать на перекресткахъ... «Не увлекаться литераторами и литературой» — гласило одно изъ неписанныхъ правилъ суроваго Николаевского режима. Чиновникъ министерства народнаго просвѣщенія, Краевскій, тиснувшій въ своемъ журналѣ по поводу смерти Пушкина, что солнце русской земли закатилось, получилъ строгое внушеніе отъ начальства; о гибели Лермонтова газеты и журналы высказались иносказательно; за восторженный некрологъ о Гоголѣ Тургеневъ перенесъ высылку. Но Тургенева провожали всѣ — молодежь, литераторы, чиновники. Было неловко, имѣя возможность не присутствовать на его похоронахъ.

«Хоронили — говоритъ Н. Михайловскій — Тургенева. Это мы знали всѣ и всѣ любили его. Тяжело и мрачно было на русской землѣ въ ту пору, когда великій писатель начиналъ свою литературную дѣятельность. Это были незабвенные сороковые годы... Какъ иногда вся жизнь умирающаго сосредоточивается въ его глазахъ, такъ все, что только заслуживаетъ названія человѣческой жизни, сосредоточивалось тогда въ количественно ничтожной горсти людей мысли. И въ числѣ ихъ былъ Тургеневъ. Въ разныя стороны разбрелась потомъ эта горсточка, и нѣкоторые изъ ея представителей, доживъ до того времени, когда опять стало тяжело на русской землѣ, играли и играютъ далеко не ту уже роль, какая выпала той горсточкѣ. Кто усталъ, кто озлобился и даже разсвирепѣлъ, кто ударился въ мистицизмъ. Но Тургеневъ никогда не былъ Савломъ. Его никогда не было въ рядахъ разношерстной литературной когорты гонителей истины и гасителей свѣта, — этой когорты шутовъ, позванивающихъ бубенчиками дурацкаго колпака... Онъ всегда оставался вѣренъ нѣсколько неопредѣленнымъ, но свѣтлымъ идеаламъ свободы и просвѣщенія, съ которыми выступилъ на литературное поприще... Онъ умеръ слишкомъ рано: когда въ жизни есть такіе люди, какъ Тургеневъ, совѣстно и неловко слишкомъ увлекаться мракобѣсіемъ и юродствомъ.

«Не принимая активнаго участія въ борьбѣ съ свинцовымъ *мракомъ*, стремящимся облечь нашу родину, не занимая опредѣленнаго мѣста въ литературѣ въ этомъ отношеніи, Тургеневъ

служилъ идеаломъ свободы и просвѣщенія самымъ, такъ сказать, фактомъ своего существованія, наличностью своего первостепеннаго таланта и своей не русской только, а европейской славы. Ни для кого не было тайной, куда направлены симпатіи этой красоты и гордости русской литературы и изъ змѣнныхъ и жабыныхъ норъ не разъ раздавалось за это зловѣщее шипѣнье по его адресу. Ни для кого также не было тайной, что Тургеневъ былъ западникъ (онъ самъ себя такъ называлъ), но это не мѣшало ему быть гордостью русской литературы. И вотъ почему Тургеневъ былъ дорогъ, хотя-бы даже ничего болѣе не писалъ. Вотъ почему нужно было желать ему еще долго, долго жить. А вмѣсто того онъ, по странному русскому выраженію, самъ приказалъ намъ долго жить».

VI.

Тургеневъ—какъ человекъ и художникъ.

Я уже не разъ говорилъ, что корни тургеневскаго вдохновенія находятся тамъ — въ эпохѣ крѣпостныхъ отношеній. Изъ нея, изъ этой обстановки извлекъ онъ свои мастерскіе художественные образы и руководящіе чувства своей жизни. Онъ сталъ западникомъ прежде всего изъ отрицанія крѣпостничества, изъ ненависти къ родному лицемѣрному рабству, а когда онъ творилъ, до-реформенная Россія наполняла его воспоминанія, возбуждала то ненависть, то поэтическую созерцательную меланхолію, которую мы всѣ испытываемъ на кладбищѣ или при видѣ покойника. На самомъ дѣлѣ что-то грустное проникаетъ всѣ произведенія Тургенева, какая то темная тѣнь легла на все, что вышло изъ подъ его пера. «Дворянское Гнѣздо» — вѣроятно самая грустная повѣсть новѣйшей русской литературы. Но неужели эта грусть, тоска и меланхолія — результатъ сожалѣнія о томъ, что прошло и прошло невозвратно? Послѣ фактовъ, представленныхъ въ біографіи, на этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ, безусловно отрицательный отвѣтъ. Тургеневъ груститъ не какъ гражданинъ, а какъ художникъ: вѣдь въ той обстановкѣ, какова-бы она ни была, прошли его дѣтство и юность, вѣдь тамъ остались много хорошихъ воспоминаній сердца, вѣдь тамъ онъ нашелъ матеріалъ для своихъ чудныхъ женскихъ образовъ — Вѣры («Фаустъ»), Лизы («Дворянское Гнѣздо»), Наташи («Рудинъ»), идеалиста П

нна, честнаго и добраго Николая Петровича Кирсанова, родителей Базарова, Оомушки и Оимушки и многихъ другихъ имъ подобныхъ, къ которымъ и мы не можемъ не отнести иначе, какъ съ глубокимъ уваженіемъ и даже любовью... Безобразны были крѣпостныя отношенія, эти писанныя и неписанныя статьи, отдававшія человѣка въ безусловную власть ему подобнаго, — но не люди, такіе-же какъ и мы, иногда лучшіе, чѣмъ мы. Припомните Пушкинскую няню Арину, двороваго изъ Спасскаго, восторгавшагося Херрасковымъ, основательнаго, умнаго Хоря, поэта Калныча, долговязую фигуру суроваго охотника Ермолая, съ его дѣтски-чистымъ чуткимъ сердцемъ, а главное припомните тургеневскихъ женщинъ и дѣвушекъ, особенно дѣвушекъ, и поэтическая эмоція коснется и васъ. Вы не дайте ей всецѣло овладѣть вами, не станете восторгаться вѣрными холопами и вѣрными рабами, — мрачный образъ Салтычихи или Варвары Петровны Тургеневой немедленно-же возстанетъ передъ вами и отравитъ ваше сердце, — вы поймете, что, какъ ни хороши тѣ исчезнувшіе люди, на каждомъ изъ нихъ крѣпостныя отношенія наложили свою печать, нестербимую и съ нашей точки позорную. Вѣрнымъ холопамъ и рабамъ вы пожелаете больше чувства собственного достоинства; другимъ, какъ Лизѣ, — большаго простора для мысли, для правды своей личности — и все-же сердце ваше будетъ задѣто. Тѣмъ сильнѣе такіе типы должны были задѣвать сердце художника. Вызывая ихъ, онъ стоялъ какъ бы на кладбищѣ, подъ холодными плитами котораго похоронено столько жестокаго, безобразнаго, столько добраго, честнаго, высокаго, а вмѣстѣ съ ними — его собственное дѣтство, его собственная юность и ея золотыя мечты.

Къ новой, начавшейся послѣ 61-го года, жизни Тургеневъ могъ относиться съ симпатіей, интересомъ, но она уже не захватывала такъ всецѣло его сердца, какъ до-реформенная Русь. Онъ не понималъ многого и не могъ понять многого. Его художественное творчество постоянно обращалось туда, къ старымъ дворянскимъ гнѣздамъ, къ аллеямъ густолиственныхъ кленовъ, гдѣ полная красоты и печали стояла «она», вся сотканная изъ лунныхъ лучей, изъ чистыхъ влеченій дѣтскаго, искренняго сердца... Лиза или Вѣра. Дѣйствіе всѣхъ его романовъ, за исключеніемъ «Дыма» и «Новя», происходитъ въ эпоху крѣпостнаго права, къ ней же относятся, почти безъ исключенія, всѣ его рассказы. Вѣрный преданіямъ юности, онъ любитъ прежде всего *идеалистовъ сороковыхъ годовъ* съ ихъ благородными порывами, *ихъ надломленной волей*. Только ихъ, въ сущности, онъ и изобра-

жасть. Онъ придавъ Базарову рудинскія черты, онъ сдѣлалъ изъ Нежданова лишняго, хотя и благороднаго человѣка.

«Я творю, когда гуляю по кладбищу своего сердца» — сказалъ Гейне, и эту фразу Тургеневъ съ полнымъ правомъ могъ примѣнить къ самому себѣ. Мы знаемъ, какія могилы были на кладбищѣ его сердца: тамъ покоились Станкевичъ и Вѣлинскій, покоились старія дворянскія гнѣзда. Тургеневъ видѣлъ исчезновеніе этихъ гнѣздъ, видѣлъ, какъ вѣковые дубы срубались на дрова, какъ заростали сады и парки всякими плеледами, какъ покрывались плесенью стѣны старыхъ домовъ, изъ оконъ которыхъ выглядывало когда-то грустное личико Лизы. Онъ могъ радоваться, видя, какъ падаютъ и разрушаются стѣны тюремъ, но какая же радость можетъ быть на могилѣ своего честнаго товарища по заключенію... Онъ творилъ, когда гулялъ по кладбищу своего сердца. Что могла сказать ему новая, начавшаяся при немъ жизнь? Онъ былъ связанъ съ нею головой, но не сердцемъ; онъ признавалъ, что она полезна, нужна, хороша — онъ этия исполнилъ долгъ гражданина, но герои «Что дѣлать?» — не его герои. Онъ несомнѣнно имѣлъ въ виду идеалистовъ сороковыхъ годовъ, когда пытался оздать своего Нежданова или писалъ слѣдующія строки въ одномъ изъ писемъ:

«Теперь—говоритъ онъ—не нужно ни особенныхъ талантовъ, ни даже особеннаго ума—ничего крупнаго, выдающагося, слишкомъ индивидуальнаго,—нужно трудолюбіе, терпѣніе; нужно уметь жертвовать собою безъ всякаго блеску и треску — нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже жизненной работы — я беру слово «жизненный» — въ смыслѣ простоты, безпристрастности... Чувство долга, славное чувство патриотизма въ истинномъ смыслѣ этого слова—вотъ все, что нужно... Мы иступаемъ въ эпоху *только полезныхъ* людей... и это будутъ лучшіе люди. Ихъ вѣроятно будетъ много; красивыхъ, плѣнительныхъ—очень мало.»

А ему нужны были красивые и плѣнительные Рудины, Шубины, Станкевичи, понимавшіе красоту, преклонявшіеся передъ искусствомъ. Въ средѣ «только полезныхъ людей» Тургеневъ чувствовалъ себя не дома.

Это одинъ изъ источниковъ его меланхоліи; другой—наслѣдственность. Онъ былъ баричемъ съ головы до ногъ, баричемъ стараго времени, съ привычками широкой жизни, добродушный, недѣятельный... «У Ивана Сергѣевича,—вспоминаетъ Вогюэ—рука была щедрая и открытая, какъ и сердце его. Онъ безъ разбора жертвовалъ всѣмъ немущимъ: достаточно было носить имя *русскаго*, чтобы быть принятымъ въ его домъ, чтобы найти его кошелекъ открытымъ и слышать изъ его устъ ласковое слово»

Въ немъ не было ни мелочной расчетливости, ни мелочной зависти, созданныхъ конкуренціей и слишкомъ обострившимися отношеніями нашихъ дней. Свободно уступалъ онъ первое мѣсто Толстому, свободно признавалъ онъ юные таланты, напр. Гаршина.

«Никто не былъ способенъ съ такой готовностью, какъ онъ,—вспоминаетъ Рольстонъ,—признать и поощрить нарождающійся талантъ, оцѣнить достоинства своихъ соперниковъ, какъ живыхъ, такъ и умершихъ. Его кротость по отношенію къ тѣмъ, кто иногда осмѣливался порицать его, была поистинѣ удивительна, и малѣйшій знакъ восхищенія всегда былъ для него неожиданностью. Какъ и покойный Дарвинъ, онъ постоянно бывалъ слегка удивленъ всякимъ доказательствомъ уваженія къ нему. Приведу для примѣра слѣдующій фактъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Генри Гольтъ изъ Нью-Йорка прислалъ ему чекъ, прося принять это, какъ слабый знакъ признательности, и прибавляя, что никогда ни одно изъ издаваемыхъ имъ сочиненій не доставляло ему такого наслажденія, какъ переводы романовъ Тургенева. Тургеневъ былъ искренно восхищенъ этимъ неожиданнымъ для него признаніемъ его таланта за океаномъ, какъ будто онъ былъ писателемъ сравнительно неизвѣстнымъ, а не романистомъ, сочиненія котораго переведены чуть ли не на все языки Европы.»

Лучшія черты стараго барства несомнѣнно воплотились въ его скромной, представительной, внушавшей невольное уваженіе фигурѣ.

Ригористомъ и доктринеромъ онъ не былъ и не могъ быть по самымъ условіямъ своихъ жизненныхъ впечатлѣній, по устройству своего ума, склоннаго къ скептицизму, по слабости воли наконецъ. Однажды онъ такъ формулировалъ свое міросозерцаніе: «Я преимущественно реалистъ и болѣе всего интересуюсь живою правдою людской фізіономіи; ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не вѣрю, люблю больше всего свободу и, сколько могу судить, достоинствъ поэзіи. Все человѣческое мнѣ дорого, славянофильство мнѣ чуждо, какъ и всякая ортодоксія. Больше ничего не имѣю доложить вамъ о себѣ...»

Онъ былъ мнительнъ и склоненъ къ меланхоліи. Стоитъ припомнить, какъ по-дѣтски боялся онъ холеры и убѣгалъ за тысячи верстъ при первомъ же слухѣ о ея приближеніи. Онъ самъ признался, что мужество—не его добродѣтель. Въ письмахъ своихъ онъ постоянно жалуется на все—на болѣзни, старость, нужду. Его излюбленная фраза: «я—человѣкъ конченый». Онъ любилъ славу, горячо дорожилъ ею, но никогда не могъ повѣрять въ нее вполне. Ему постоянно казалось, что публика его не любитъ, молодежь презираетъ, что его повѣсти и рассказы прова-

ливаются съ трескомъ. Сколько разъ сообщаетъ онъ о своемъ непремѣнномъ желаніи бросить литературу «и уже на всегда», хотя самъ вѣроятно понималъ, что это для него совершенно невозможно, такъ-же органически невозможно, какъ не пить и не ѣсть. Однажды судьба подвергла его жестокому испытанію, и несомнѣнно, что онъ не сумѣлъ перенести его, не сумѣлъ встрѣтиться лицомъ къ лицу съ бурей и непогодой. Это было въ 60-е годы, во время литературной исторіи съ «Отцами и Дѣтьми». Тургеневъ обидѣлся, загрустилъ, не писалъ нѣсколько лѣтъ, жаловался на свою судьбу, поторопился подписать себѣ приговоръ, хотя рѣшительно никакой надобности въ этомъ не чувствовалось. Онъ поступилъ какъ избалованный, капризный ребенокъ, — большой ребенокъ, ребенокъ гигантъ, но все-же ребенокъ. Онъ далъ полный просторъ своей меланхоліи, создалъ свое знаменитое «Довольно!» — эту лучшую по картинности пѣснь нашей славянской тоски, славянскаго пессимизма. А вѣдь недоразумѣніе должно было разѣяться рано или поздно. И это чувствовалось уже въ самомъ началѣ. Часть молодежи была на сторонѣ Тургенева, Писаревъ прямо провозгласилъ Базарова героемъ. Но, слѣдуя приему всѣхъ слабыхъ людей, нашъ великій писатель, чтобы найти какое нибудь утѣшеніе, вообразилъ свою неудачу полной и безусловной. Разъ все кончено и жалѣть больше не о чемъ.

Натура созерцательная по преимуществу, Тургеневъ не былъ ни общественнымъ, ни политическимъ дѣятелемъ. Это прежде всего поэтъ, художникъ, мечтатель, котораго неотразимо тянуло къ себѣ творчество. Онъ любилъ писать, любилъ страстно, хотя принимался за работу съ трудомъ и даже отчаяніемъ. Онъ весь вылился въ своемъ языкѣ, своемъ стилѣ, какъ Толстой въ своемъ. Его музыкальныя фразы, граченые періоды, аристократическая сдержанность выраженій, умѣнье вызывать настроеніе (по преимуществу меланхолически) однимъ построеніемъ словъ, ихъ созвучіемъ — все это дѣлало изъ него первокласснаго писателя и въ то-же время позволяетъ намъ заглянуть въ его душу.

Въ другое время и въ другой обстановкѣ онъ непремѣнно увлекся-бы въ сторону меланхоліи, отчаянія, быть можетъ даже мистицизма. Его любимымъ писателемъ былъ Шопенгауэръ, самъ онъ всю жизнь не могъ отдѣлаться отъ тоски и грусти. Любовь, красота, искусство — все, чему онъ служилъ, во имя чего жилъ и работалъ, — все это то и дѣло представлялось ему ненужнымъ, пустымъ, тлѣннымъ. Но онъ крѣпко держалъ себя въ рукахъ, и мы знаемъ — почему.

Мнительный и склонный къ меланхоліи по наслѣдству, съ широкими, размашистыми, иногда обломовскими привычками, Тургеневъ однако такъ долго и часто подвергался вліянію европейской дисциплинированной культурной жизни, что выработалъ въ себѣ и стойкость, и вѣротерпимость западнаго образованнаго человѣка. Холопская формула «либо въ зубы, либо ручку пожалуйте», неменѣе холопская привычка падать собственной своей фizioноміей въ грязь, для выраженія собственнаго своего восторга—претили ему до тошноты. Чувство собственнаго достоинства и чувство мѣры были для него не пустыми словами и какъ для художника, и какъ для человѣка. Въ роли пророка и Мессіи, такъ привлекавшей Гоголя, Достоевскаго, а теперь привлекающей Толстого, онъ не выступалъ никогда и добродушно подсмѣивался надъ пророками и мессіями. Скептикъ по натурѣ, проникнутый сознаниемъ безконечной сложности челоѣческой жизни, онъ не могъ-бы никогда сказать, что «я—истина», а все остальное чепуха. Онъ цѣнилъ въ челоѣкѣ прежде всего его свободу, его критическія способности, а не всероссійскую наклонность «идти и бѣжать» куда прикажете—въ исповѣдальню Достоевскаго или въ интеллигентную колонію, или въ нечаевскую пѣтерку. Всякая ортодоксія была ненавистна ему, и наклонность къ ортодоксіи онъ порицалъ чаще и рѣзче всего—по моему, слишкомъ даже рѣзко. Припомните его рѣзкія выходки противъ «идола» Губарева или секты матреновцевъ, т. е. послѣдователей вѣзломшной бабы Матрены Савишны. Справедливо замѣчено, что русскій челоѣкъ—сектантъ по преимуществу, что ему необходимо восторгаться или плевать, иначе никакъ невозможно. Противъ этого узкаго сектантскаго духа и направлены всѣ рѣзкія выходки Потугина въ «Дымѣ». «Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ,—говоритъ Потугинъ,—баринѣмъ этимъ бываетъ большею частію живой субъектъ, иногда какое набудь такъ называемое направленіе надъ нами власть возымѣть: теперь напр. мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались... Почему, въ силу какихъ резоновъ мы записываемся въ кабалу—это дѣло темное; такая ужъ видно наша натура. Но главное, чтобы у насъ былъ баринъ. Ну, вотъ онъ и есть у насъ; это значитъ нашъ, а на все остальное—наплевать. Чисто холопы! и гордость холопская, и холопское угодженіе... Новый баринъ родился—старого долой. То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ: въ ухо Якову, въ пош Сидору... Кто палку взялъ, тотъ и канраль»...

Что въ этихъ словахъ много вѣрнаго, это несомнѣнно,

только не совѣмъ вѣрно они сказаны. Въ силу какихъ резонансовъ записываемся мы въ кабалу—знать можно и натура наша тутъ не причеиъ. Все-же это исканіе, это вѣра какаѧ ни на есть и куда она выше пустопорожней погони за лишнимъ рублемъ...

Но это между прочимъ. Европейски дисциплинированной натурѣ Тургенева претило наше холопство, какъ претило и наше самодовольство. Онъ слишкомъ ясно видѣлъ и зналъ превосходство европейской культуры надъ нашей, чтобы колебаться въ выборѣ пути, по которому слѣдуетъ идти. Надо перенимать, но какъ? «Кто-же насъ—спрашиваетъ онъ—заставляетъ перенимать зря? Вѣдь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вамъ пригодно; стало быть вы соображаете, вы выбираете. А что до результатовъ,—такъ вы не извольте безпокоиться: своеобразность въ нихъ будетъ въ силу этихъ мѣстныхъ, климатическихъ и прочихъ условій... Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудокъ переваритъ ее по своему; и со временемъ, когда организмъ окрѣпнетъ, онъ дастъ свой сокъ... Весь вопросъ въ томъ, крѣпка ли натура? а наша натура—ничего, выдержать: не въ такихъ была передѣлкахъ. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные болные, да слабые народы; точно также какъ восторгаться съ пѣной у рта тому, что мы—русскіе, способны одни вздорные люди.»

Въ этомъ пунктѣ не согласиться съ Тургеневымъ, какъ кажется, совершенно невозможно. Наша культура все болѣе сближается съ западно-европейской, сближается не по днямъ, а по часамъ, съ каждымъ новымъ торговымъ трактатомъ, каждой новой переведенной статьей, каждой построенной фабрикой, каждымъ новорожденнымъ пролетаріемъ. Хотимъ-ли мы этого или не хотимъ—объ этомъ никто не спрашиваетъ насъ, да и никто этимъ не интересуется. Мы такъ далеко зашли по пути европейскаго просвѣщенія и европейскихъ экономическихъ отношеній, что если бы отъ Вержболова до границы, а отъ Границы вдоль Карпатъ до устья Дуная воздвигнуть Гималайскій хребетъ, намъ все-же бы пришлось идти тою-же дорогой, какъ европейцы. Перенимать—выгоднѣе, экономнѣе, благоразумнѣе, да и безопаснѣе, чѣмъ орать «мыста да выста»...

Но снѣшу оговориться, западническія убѣжденія нисколько не мѣшали Тургеневу любить Россію. Въѣсть съ Потугинимъ онъ могъ-бы сказать: «я люблю и ненавижу Россію, свою страну, милую, скверную, дорогую родину».

Еслибы теперь мнѣ предложили возможно короче опредѣлить міросозерцаніе Тургенева—я бы не употребилъ ни пошлаго слова «либералъ», ни неопредѣленнаго «западникъ», а сказалъ-бы, что нашъ великій писатель былъ прогрессистомъ и гуманистомъ. Человѣчность вотъ что одухотворяетъ его произведенія, вотъ что составляетъ ихъ красоту.

Какъ умъ европейски дисциплинированный, Тургеневъ не могъ, разумѣется, имѣть никакого пункта соприкасательства съ нашими доморощенными консерваторами или, какъ ихъ лучше звать, «охранителями». Нашъ консерватизмъ на самомъ дѣлѣ вещь странная, въ XIX-омъ вѣкѣ почти невѣроятная. Такъ или иначе, въ той или другой формѣ онъ—мракобѣсіе. Это совсѣмъ не то, что представляетъ изъ себя напр. англійскій консерватизмъ. Послѣдній эгоистиченъ, остороженъ, но онъ никогда не домыслится въ открытую дверь и никогда не стучитъ лбомъ въ стѣну. Англійскіе консерваторы, исторически дисциплинированные, проводятъ въ жизнь смѣлыя демократизирующія обществу реформы, какъ Дизраэли въ 66 г., какъ Салисбери въ 84 г. Они понижаютъ цензъ, увеличиваютъ число голосовщиковъ на парламентскихъ и муниципальных выборахъ. Они понимаютъ, что задерживать исторію можно, но становиться ей поперекъ дорогъ—опасно и не къ чему. Русскій консерваторъ—это прежде всего добровольный соглядатай—въ худшемъ случаѣ, мистикъ—въ лучшемъ. Онъ знаетъ только одно, что надо поворачивать назадъ. Онъ стоитъ за розги въ школѣ, кнутъ—въ судѣ, крѣпостничество—въ деревнѣ. Его благополучную голову не смущаетъ даже мысль о томъ, что поворачивать назадъ не только глупо, но и невозможно. Но русскій консерваторъ убѣжденъ, что нѣтъ ничего на свѣтѣ сильнѣе розги или оффиціальной бумажки.

Тургеневъ не былъ и либераломъ въ европейскомъ смыслѣ слова. Западный либерализмъ живетъ формулой: «права, свобода, счастье *для собственника*»; Тургеневъ просто любилъ права, свободу, счастье, но не дѣлилъ человѣчество на чистыхъ и нечистыхъ. Онъ былъ гуманистомъ въ широкомъ смыслѣ слова.

Любилъ ли онъ мужика, народъ? Не столько любилъ, пожалуй, сколько видѣлъ въ мужикѣ человѣка, признавалъ въ немъ живую человѣческую душу и цѣнилъ ее. Онъ не народникъ, онъ не говоритъ, что надо учиться у мужика, что надо дѣлать такъ, какъ мужикъ хочетъ; онъ видитъ, что мужикъ гризень, невѣжественъ, голоденъ, что звѣрь еще сидитъ въ немъ, и желаетъ *для него счастья*, не особеннаго какого нибудь, вроде того,

которое мерещилось прежде Достоевскому а теперь мерещится Толстому—а единственно возможнаго: основаннаго на знаніи, достаткѣ, правахъ.

Какъ гуманистъ, Тургеневъ безусловно искрененъ. Онъ гуманистъ не только по убѣжденіямъ, а по природѣ. Онъ прежде всего *добръ*, какъ человекъ, какъ художникъ. Не трудно замѣтить, что отрицательные типы не давались ему. Два-три урода выведены имъ въ «Запискахъ Охотника», къ нимъ онъ относится съ негодованіемъ, но что значать эти два-три типа въ громадной галлерей образовъ, созданныхъ имъ? Въ этомъ смыслѣ Ренанъ правъ, говоря:

«Его миссія была вполнѣ умиротворяющей. Онъ былъ какъ Богъ въ книгѣ Іова, творящій миръ на высяхъ. То, что у другихъ производило разладъ, у него становилось основой гармоніи. Въ его широкой груди примирялись противорѣчія, проклетія и ненависть обезоруживались волнебнымъ обаяніемъ его искусства...»

«Въ этомъ (гуманизмѣ) близость Тургенева съ народной душой, съ народной совѣстью. Заклейменный каторжникъ, убійца, жестокій истязатель для него прежде всего несчастный, которому слѣдуетъ сострадать. И Тургеневъ страдалъ всѣмъ всю жизнь.

«Любовь—писать онъ—силѣе смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь»...

Изъ всемірно литературныхъ типовъ Тургеневъ выше всего цѣнилъ Донъ-Кихота. Почему?

«Жить для себя, заботиться о себѣ—говорить онъ—Донъ-Кихотъ почелъ-бы постыднымъ. Онъ весь живетъ, если можно такъ выразиться, *отъ себя*, для другихъ, для своихъ братьевъ, для истребленія зла, для противодействія враждебнымъ челоѣчеству силамъ — волнебникамъ-великанамъ, т. е. притѣснителямъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда эгоизма, онъ не заботится о себѣ, онъ весь—самопожертвованіе (оцѣните это слово!; онъ вѣритъ, вѣритъ крѣпко и безъ оглядки... Смиранный сердцемъ, онъ духомъ великъ и смѣлъ...»

Тургеневъ и самъ хотѣлъ порою, чтобы и его захватилъ и «закрутилъ порывъ вѣры, любви, самопожертвованія и не въ творествѣ лишь, а въ жизни.—но «каждому свое»...

Въ Тургеневѣ не было злобы. Онъ оставался добрымъ, добродушнымъ, даже когда сердился. Иногда на словахъ онъ давалъ увлечь себя личному раздраженію, но это было лишь минутнымъ настроеніемъ. Великія слова: «миръ между людьми» и всепрощеніе были написаны на его знамени, какъ человека, мыслителя и художника.

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

8

3

4

11

10

Для дѣтей и юношества.

Иллюстрированные сказки Андерсена. Полное собрание въ 6 томахъ. Съ 530 картинками. Изд. тов. В. Пороховской. Ц. каждаго тома 60 к., въ перепл. 75 к., въ перепл. по 3 тома 2 р. 60 к.

Сказки Густафсона. Съ 30 рис. Ц. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 60 к., въ перепл. 1 р. 75 к.

Русскія народныя сказки въ стихахъ А. Грин-чанинова. Съ пред. Тургенева. 62 рис. Ц. 2 р., въ перепл. 2 р. 60 к., въ перепл. 3 р.

Наглядныя несообразности. (Дѣтскія задачи въ картинкахъ) Ф. Павленкова. 10 листовъ. Ц. 1 р. „Объясненіе“ къ пазл 6 к.

Подружка. Книжка для маленькихъ дѣтей. Сост. Бостромъ. Съ 130 рис. Ц. 75 к., въ перепл. 1 р., въ перепл. 1 р. 80 к.

Два проказника. Шутливый рассказъ Бюна. Съ илменк. 100 рис. 2-е изд. Ц. въ перепл. 60 к.

Дѣтскій маскарадъ. Авбелева. Съ 16 р. Ц. 20 к.

Послушаемъ! Дѣтскіе рассказы. Поляда. Съ 23 рис. Ц. въ перепл. 1 р., въ перепл. 1 р. 35 к.

Робинзонъ. Его жизнь и приключенія. Гейбелъ. Переводъ съ нѣмецкаго. Съ 107 рис. Ц. на 30 к., въ перепл. 40 к., въ перепл. 60 к.

Донъ-Кихотъ. Сервантеса. Сокращ. перес. съ 43 рис. Ц. 50 к., въ перепл. 60 к., въ перепл. 90 к.

Иллюстрированные романы Диккенса въ сокращенномъ переводѣ Л. Шелгуновой. 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3) Оливеръ Твистъ, 4) Большія надежды, 5) Пять общій другъ, 6) Лавка древностей, 7) Крошка Дорритъ, 8) Тяжелыя времена, 9) Холодный домъ, 10) Николай Никльби, 11) Два города, 12) Мартинъ Чезельви. Ц. на каждаго романа 40 к. Въ перепл. 60 к., въ перепл. по 6 ром. — 3 р. 25 к.

Въ добрый часъ! Сборникъ дѣтскихъ рассказовъ. А. Ляидъ. Съ рисунками. Ц. 75 к., въ перепл. 1 р., въ перепл. 1 р. 25 к.

Задумчивые рассказы. Н. Засодимскаго. Два тома съ 135 рис. 2-е изд. Ц. на каждаго 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 60 к., въ перепл. — 2 р.

Рыжій графъ. Неразлучники. Дочь угольщика. Засодимскаго. Ц. на каждаго книжки по 35 к.

Янки Вологодскаго уѣзда. Крулова. Съ 6 рисунками. Ц. 25 к.

Вечерніе досуги. Крулова. Съ 70 рис. Ц. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 60 к., въ перепл. 2 р.

Незабудки. А. Крулова. Рассказы. Съ 50-ю рис. Ц. 1 р. 60 к., въ перепл. 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р.

Изъ жизни и исторіи А. Арсенева. Съ рис. Ц. на въ перепл. 1 р. 60 к., въ перепл. 2 р.

Блуждающіе огни. Бажинъ. Со мног. рис. Ц. 1 р. Въ перепл. 1 р. 25 к. Въ перепл. 1 р. 60 к.

Живыя картинки. Смирнова. Съ 50 рис. Ц. 1 р. 60 к., въ перепл. 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р.

Черные богатыри. Е. Конради. Со множеств. рис. Ц. на 2 р., въ перепл. 2 р. 75 к.

Мученики науки. Р. Тисандо. Переводъ подъ редакціей Ф. Павленкова. Съ 65 рис. 8-е изд. Ц. 1 р. 25 к., въ перепл. 2 р.

Хорошіе люди. В. Острогорскій. Съ 45 рисунками. 2-е изданіе. Ц. 1 р., въ перепл. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 60 к.

Двадцать биографій образцовыхъ русск. писателей. Сост. В. Острогорскій. Съ 20 портретами. Ц. 60 к., въ перепл. 75 к., въ перепл. 1 р.

Всякому гвоздю свое мѣсто. Крулова. Съ 46 рис. Ц. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 60 к., въ перепл. 2 р.

Исторія открытія Америки. Лане-Фасри. 3 изд. 52 рис. Ц. 75 к., въ перепл. 1 р., въ перепл. 1 р. 30 к.

Иллюстрированные романы Вальтеръ-Скотта въ сокращенномъ переводѣ Л. Шелгуновой. 1) Виверлей, 2) Антикварій, 3) Робъ-Рой, 4) Абенто, 5) Астрологъ, 6) Квентинъ Дорвардъ, 7) Вудстокъ, 8) Замокъ Кенильвортъ, 9) Ланермурскія вѣнцы, 10) Лестеръ о Монрозъ, 11) Печерный Пикъ, 12) Пресвитеріане, 13) Покровка красавица, 14) Аббатъ, 15) Монтегастри, 16) Пиратъ, 17) Карлъ Сильный, 18) Ричардъ-Личное Сердце, 19) Обрученіе, 20) Черный карликъ. Ц. каждаго романа 40 к., въ перепл. 60 к., въ перепл. по 5 романовъ въ перепл. 2 р. 80 к.

Образовательное путешествіе. С. Ворисгофера. Съ 73 рис. Ц. 1 р. 60 к., въ перепл. 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р. 25 к.

Черезъ дѣбри и пустыни. С. Ворисгофера. Съ иллюстраціями. Ц. 2 р., въ перепл. 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 75 к.

Сказочная страна. С. Ворисгофера. Съ иллюстраціями. Ц. 2 р., въ перепл. 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 75 к.

Приключенія контрабандиста. С. Ворисгофера. Съ иллюстраціями. Ц. 1 р. 60 к., въ перепл. 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р. 25 к.

На землѣ и подъ землей. Изъ воспоминаній всемірнаго путешественника. В. Галузова. Со мног. рис. Ц. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 60 к., въ перепл. 2 р.

Несчастливцы. Повесть для дѣтей изъ жизни наслѣдковъ. Э. Кандеа. Съ 65 рис. Ц. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 60 к., въ перепл. 2 р.

Приключенія сверчка. Кандеа. Съ 67 рис. Ц. 2 р., въ перепл. 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 60 к.

Научныя развлеченія. Р. Тисандо. Переводъ подъ редакціей Ф. Павленкова. Съ 353 рис. 3-е изд. Ц. 1 р. 60 к., въ перепл. 2 р. 25 к.

Математич. софизмы. Обрекова. 50 теоремъ, доказывающихъ, что $2 \times 2 = 5$ и т. Ц. 40 к.

Математическія развлеченія. Люкиса. Переводъ съ фрнц. Съ 55 фигурами и таблица-ми. Ц. 1 р., въ перепл. 1 р. 75 к.

Тройная головоломка. Обрекова. Сборникъ геометр. игръ. Съ 300 рис. Ц. 1 р.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЛЕРМОНТОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА.

1) Демонъ. Съ 9 рис. Ц. 6 к. — 2) Ангелъ Смерти. Съ 5 рис. Ц. 3 к. — 3) Имамъ-Бей. Съ 9 рис. Ц. 10 к. — 4) Хаджи-Абрекъ. Съ 5 рис. Ц. 3 к. — 5) Бояринъ Орша. Съ 7 рис. Ц. 4 к. — 6) Пѣсня про купца Калашникова. Съ 7 рис. Ц. 3 к. — 7) Мцыри. Съ 7 рис. Ц. 4 к. — 8) Ауль Бастунджи. Съ 5 рис. Ц. 3 к. — 9) Литвинка. Съ 5 рис. Ц. 3 к. — 10) Наллы. Съ 3 рис. Ц. 2 к. — 11) Навказскій плѣнникъ. Съ 8 рис. Ц. 3 к. — 12) Корсаръ. Съ 3 рис. Ц. 2 к. — 13) Чернокъ. Съ 3 рис. Ц. 2 к. — 14) Джулю. Съ 3 рис. Ц. 3 к. — 15) Назначейша. Съ 5 рис. Ц. 4 к. —

17) Бэла. Съ 9 рис. Ц. 8 к. — 18) Тамань. Съ 5 рис. Ц. 3 к. — 19) Княжна Мерм. Съ 9 рис. Ц. 12 к. — 20) Фатальскій. Съ 3 рис. Ц. 2 к. — 21) Призракъ. Съ 3 рис. Ц. 3 к. — 22) Маскарадъ. Съ 5 рис. Ц. 10 к. — 23) Испанцы. Съ 5 рис. Ц. 10 к. — 24) Ашинъ-Керибъ. Съ 5 рис. Ц. 2 к. — 25) Княгиня Лиговская. Романъ. Съ 5 рис. Ц. 8 к. — 26) Люди и страсти. Трагедія. Съ 5 рис. Ц. 8 к. — 27) Странный человѣкъ. Драма. Съ 5 рис. Ц. 8 к. — 28) Два брата. Драма. Съ 5 рис. Ц. 6 к. — 29) Всѣ баллады и легенды. Съ 1 рис. Ц. 6 к. — 30) Почти изъ сокращенной жизни. Съ 9 рис. Ц. 7 к.

